

## ЗЕМЛЯКИ

**АФНАСИЙ МАМЕДОВ**

### **КИНОВАРЬ, ИЛИ ПЕРЕЗАГРУЗКА В ТУНИСЕ**

*Повесть*

*Это тот случай, когда стоит шарахнуть рекламную кампанию, как для «Анжелики, маркизы ангелов».*

*«Маятник Фуко»  
Умберто Эко*

Когда бережно сохраненные связи складываются в некий ожидаемый рисунок, соответствующий устремлениям и долготерпению «посланного на край», когда приходит понимание того, почему именно ты, «дозорный», «искатель», занимаешь эту крайне невыгодную для размеренного бытования позицию, когда в твоей жизни все сходится с неумолимым бегом часовой и минутной, и янтарный свет уже начинает мягко обливаться отмеренную свыше дистанцию с невидимой пульсирующей точкой на конце обрывающегося зона, ты осторожно спрашиваешь у листопадной тишины собственного «я», вполне ли соответствуешь поставленной перед тобой задаче. Ответа ждать – как от блеклых небес, до которых пытаешься дозвониться по телефону.

Я должен был лететь на Джербу несколько лет назад по своим журнальным делам: предложили написать материал о паломниках-евреях, приезжающих на остров поклониться праху покоящегося там Шимона Бар Ясхаи, одного из авторов Талмуда.

Мне снились бесконечные рощи финиковых пальм, обширные оливковые плантации в окружении пологих пляжей с белым песком и теплым прозрачным морем, по пенистой кромке которого неспешные берберы вели неспешных верблюдов. А когда большие ленивые бабочки, делающие гимнастические упражнения на перезрелых финиковых гроздьях, начали проникать за границы, отведенные Морфеем, райский остров, воспетый в древних мифах, был перечеркнут из-за возможных терактов.

О том, что время в Тунисе не самое подходящее для написания подобного рода статей, предупредил шефа «бывший аналитик одной из израильских спецслужб» и по совместительству колумнист нашего журнала. Вслед за его предупредительной депешей примчалась еще одна, уж не знаю от ветерана каких служб, проигнорировать которую тоже было неблагоприятно.

Я закрыл для себя тему Джербы без сожаления: номер складывался непросто, требовалось мое присутствие в журнале.

Остров еще какое-то время оставался в памяти, посылая мне знаки в виде то обычной сетевой справки, то любительских фотоснимков низкого качества, а то и туристических отзывов, которые тоже восторгов не вызывали. Впрочем, как я успел заметить, отзывы блогеров о странах, никогда не входивших в состав СССР, всегда грешат иллюзией осведомленности и непомерным снобизмом. А со снобизмом вообще и российским в частности бороться бессмысленно, его следует просто делить на восемнадцать, как делишь человека, доверительно сверлящего тебе мозг на том ложном основании, что он-то все знает лучше других. Страшно утомительная штука для деликатных людей.

Не помню точно, сколько времени с тех пор прошло, может, два года, может, три, и вот снова Тунис, снова угроза терактов, и снова номер складывался непросто и требовал моего присутствия в журнале: надо было в четырехчастном интервью отработать октябрьский погром в Бирюлево с позиций «как это будет для евреев», что в переводе на гойский означало, грозит ли евреям беда, ведь от нелюбви к кавказцам до нелюбви к евреям – одна трамвайная остановка.

Я сообщил редакции, что билеты у меня на руках, не поехать не могу, и заверил, что буду работать в Тунисе, как в Москве.

– Ну, хорошо, хорошо, – выстрелила в меня из дамского «браунинга» наш ответственный секретарь. – На связь рекомендую выходить регулярно.

И хотя до моего отъезда оставалось еще несколько дней, попрощалась со мною так административно, что появилось желание немедленно рвануть в какие-нибудь Богом забытые и совершенно безответственные края.

Почему Тунис? Почему, скажем, не Алжир или Марокко? Тоже страны Магриба. Да потому, что память создает условия, определяющие нашу жизнь в дальнейшем.

Террорист-смертник подорвал себя на пляже в Суссе, а отель, в который мы должны были вскоре вселиться, находился как раз между Монастиром и Суссом – по московским меркам, совсем неподалеку, на одной ветке метро. Охранник не пустил джихадиста внутрь отеля, и тот предпочел «разрядиться» на пляже, к счастью, почти безлюдном.

Обо всем этом жена вычитала в Сети и решила либо сдать билеты, либо заметить Тунис на Турцию, Кипр или Испанию; предпочтительно все же – Испанию.

«Сдать билеты – пожалуйста, а вот в Турцию, на Кипр и уж тем более в Испанию – извините, помочь не можем, поздно уже», – сообщил наш туроператор.

Терять деньги не хотелось, да и Тунис в моей судьбе начал маячить с того самого момента, как я узнал о Ганнибале и Пунических войнах. Дымящийся Карфаген впервые предстал пред моим взором, когда я справлял раннюю юность, в период сладостного застоя, когда никто и помыслить не мог, что советская власть обвалится, Крым благополучно отойдет Украине, а в Москве будут громить овощные базы на подхлест нашей издерганной фейсбучной ленте.

Был и еще один повод.

Однажды мы выполняли задание Бея: вспоминали прошлые жизни и важные события из них. Мехти-ага полагал, что свое прошлое каждый должен уметь собрать заново с выгодным для себя нынешнего раскладом, только для начала надо признать, что прошлого как такового не существует, и лишь после этого хорошенько изучить то, что мы все же считаем «своим прошлым». (Вот такой парадокс в духе моего учителя.)

Он разрешил нам, ученикам, принять любую удобную для нас позу, сам же расположился на коврике по-турецки в центре зала, контролируя «сторожевые пункты» нашего сознания, чтобы незамедлительно прийти на помощь, если потребуется.

Через какое-то время – точно сказать не могу: в «измененке» время не то, что здесь, – в мыльном галопе по циферблату я увидел свою переносицу, а потом и всего себя, лежащего на коврике в шавасане – «позе трупа». Было страшно, я понимал, что это не отражение в зеркале, с которым встречаюсь по несколько раз на дню, но знак высвободившейся из тела души, начало прощания с прошлым, своим прошлым, которое я должен преодолеть и вернуться назад обновленным.

Потом точно так же со стороны я увидел древний финикийский порт.

Давка, шум и брань... Легкий морской бриз. Йодистый запах. Шлепанье волн о деревянные сваи. Скрип кораблей. Я быстро нашел свой. Но кто – я? Неужели вот этот толстяк с золотыми и серебряными браслетами на запястьях, поднимающийся по трапу, похожий на Питера Устинова в фильме «Спартак»? Неужто это у меня обильно выступает пот на волосатой жирной груди, капает с крючковатого кривого носа на живот?.. Неужели это я пинаю ногой какого-то мальчишку, очень похожего на меня

же в пятом-шестом классе, обвиняя его в нерасторопности на языке, которого не знаю?

О, как он мне не нравился, этот шерстяной кабан с недостающим передним зубом! Как хотелось ему самому наподдать. А с какой ненавистью смотрели на него его рабы и вся корабельная команда, включая капитана!..

Отвращение к нему переполняло меня до того момента, пока не закончилась погрузка товара и он не скрылся под навесом в прохладу, а моряки не начали шестами отталкивать груженое судно от берега...

Звук тибетских медных тарелочек, в которые несколько раз ударил Бей, я пропустил. Из путешествия в прошлое вернулся последним из учеников. Когда все замки были сняты и я открыл глаза, Бей сидел на корточках, склонившись надо мною. Он силился разглядеть, прочесть на моем лице то, что я мог пропустить по невнимательности или с умыслом. (Я знал, что почти все ученики, сгорая от стыда, пытались утаить некоторые подробности своих путешествий в прежние жизни.)

– Что случилось? – Вид у него был озабоченный. – Где ты пропал?

– Кажется, в Тире..

– (!..) Кем был?

– Купцом...

– Торговцем рабами?..

– И рабами тоже.

– Что делал?

– Готовил судно к отплытию.

– Куда?

– В Карфаген.

– Что тебе в торговце не понравилось?

– Все.

– А конкретнее?

– Мне не понравилось то, что он жирный, алчный, трусливый и его никто не любит. Он не герой, он отвратительная мерзкая скотина...

– Припечатал дядьку из нашего времени?! А по-твоему, все, как в кино, героями должны быть? Марло-Брандонами-Жан-Габенами? Прости его, он – твое первое воплощение. Могло быть и хуже.

Тогда своими коронными шуточками Бей поднял мне дух, разогнал душевную хмарь. Потом были и другие путешествия в поисках своих прошлых воплощений, но если те ушли глубоко в подсознание, где им и положено оставаться до случая, это почему-то барахталось на поверхности...

Не могу сказать, что я вспоминал о нем ежедневно, сгорая от жгучего стыда, но и поныне делаю все, чтобы не походить на финикийского купчину. Кроме того, мне страшно хотелось знать, добралось ли под завязку груженое товаром судно до пункта своего назначения. Кроме того, «Ceterum censeo Carthaginem esse delendam»<sup>1</sup>. Неплохо было бы самому заглянуть в пунический темный колодец и спросить у веков, у камней, а не у Марка Порция Катона Старшего, почему именно «Карфаген должен быть разрушен кроме того»?

Проще было бы сказать: «Будь, что будет!» и кинуться укладывать чемоданы, но всегда ли следует полагаться на то, что проще всего в данную минуту?

Мы сидели с женой на кухне, пили чай с мятой и гоняли планшетное яблоко по Средиземноморью. Оказалось, «колыбель цивилизации» в ноябре уже не располагает тем «широким спектром туристических услуг», какие были заявлены ею еще с весны. Жена спросила:

– Ну что, не сдаем билеты? Рискнем?

<sup>1</sup> «Кроме того, Карфаген должен быть разрушен».

– Надо подумать.

– Что значит – «надо подумать»? Решай сейчас.

И посмотрела на меня взглядом из того прошлого, когда ведущим был я. Было когда-то такое время, и до сего момента мне казалось, что оно не оставило следов.

– Чему учил тебя в таких случаях Мехти-ага? Что подсказывает тебе твоя интуиция?

Как правило, после сдачи очередного номера журнала моя интуиция дремлет до следующего дедлайна. Что же касается моего учителя – странно, жена никогда всерьез не воспринимала мое «саньясинское прошлое», сейчас же, тревожно улыбаясь, ждала от меня ответа.

В случаях, когда дело касалось интуиции, Мехти-ага, помнится, предупреждал: для мозга создание иллюзий скорее правило, чем исключение. «Увидеть реальность такой, какая она есть, – все равно, что познать абсолютную истину. Все зависит от того, какая иллюзия держит тебя на плаву, и стоит ли ее менять».

Жене я этого, конечно, не сказал. Меньше всего хотелось сейчас поддаваться вообще каким-либо иллюзиям, однако и быть излишне рациональным тоже ни к чему. Зачем омрачать предстоящий недельный отпуск? И дело тут не в интуиции и не в иллюзии.

«В чем же тогда?» – спросил я себя и не смог ответить.

Отдавая должное спонтанной медитации и работе «по трем линиям в тонких мирах», я решил на всякий случай визуализировать образ моего учителя, уже два года как почившего в бозе. Приму необходимые меры предосторожности, сдвину «точку сборки» совсем чуть-чуть и спрошу у него совета. Мне даже послышался ответ из другой реальности:

– Приходи, потолкуем...

Куда это, интересно? На кладбище в Баку, что ли?

И только я это подумал, как сквозь прозрачные занавеси в мою московскую кухню проник слабенький солнечный луч, точно утешение в старости от круговерти земной.

Я поймал, втянул ноздрями заповедный запах коренастой абшеронской елки и прелой ноябрьской листвы, перебиваемый запахом бензина, услышал ангельскую перекличку сверчков под звук складывающихся автобусных дверей (гармошку меняли, поди, в прошлом тысячелетии) и, почувствовав легкое покачивание, уловил чей-то влажный скошенный взгляд-уголек...

За окном автобуса вместо ожидаемого пейзажа, продуваемого ветрами прошлого, пролетали, будто откадрированные нашим журнальным худредом, фотографии с ветрами из совсем другого времени; подрагивали в такт автобусу чьи-то спины с плохо привинченными головами, в разряженном, каком-то неземном воздухе парила, извиваясь, пущенная под самые хрящи автобусной крыши билетная лента... У кого-то в кармане, оборвав одну на всех дремотную мысль, приглушенно зазвонил мобильник. «Но тогда ведь не было мобильных. Вне дома – лишь телефонные автоматы за две копейки».

«Сейчас» и «тогда» потеряли значение, едва учитель мой возник с правого боку в тонах расплывшегося чайного пятна на кипенно-белой скатерти. Его появление было отмечено легонько дотронувшейся до моего лица теплой волной.

Что-то было не так... Поначалу я даже сильно напрягся и стиснул зубы, он был какой-то по-новому опасный, наш Мехти, но после, когда мое личное экспертное сообщество большинством голосов признало-таки голый череп на гладиаторской шее, густые моржовые усы, скрывающие губы (почему-то показалось, они пересохли и настоятельно требовали воды), волевой, лилового цвета, не пробиваемый в кулачных боях подбородок, я бросил ему:

– Салам тебе, Бей! – мы так его тоже называли. – Прости, что побеспокоил...

– Кто сказал, что собака не уступит корзины со щенками, если ее хорошо попросить?

И он поймал в автобусном воздухе парившую ленту, как ловят змееловы готовую ужалить библейскую тварь. Поглядел на нее, точно та предлагала немедленно сделать выбор в обход допотопной истории, хмыкнул, самодовольно улыбнулся, обнажив нечестные, должно быть, позаимствованные у вечности зубы, и, так ничего не сказав, не сославшись ни на одно уважительное обстоятельство, сошел с оторванным «счастливым билетиком» на следующей остановке в фиолетовое что-то, которое с известной долей натяжки можно было бы назвать либо маревом, либо предрассветной дымкой.

Мгновение – и я ненадолго теряю мастера из виду, он исчезает за каким-то плотном, прошитым золотистыми нитями, за которым, должно быть, скрывалось миновавшее в неустановленном порядке.

Почему-то казалось, порядок тот представляет собой угрозу для меня – что-то источает, влечет в забвение, впрочем, для нас – «летчиков»-саньясинов – многие вещи становятся опасными, когда мы выходим на другую частоту существования и закрепляем «ползунок» в «точке сборки». Можно, конечно, и отказаться от астральных путешествий, но замороженный однажды вселенской тайной искатель вряд ли остановится, будет охотиться за нею во все дни своей мятежной жизни, прекрасно понимая, до чего могут довести его подобного рода изыскания.

Обнаружил я его вновь уже у себя на кухне, без предварительного стука косячками пальцев обо что-либо, напоминавшее преграду меж здешним и «другим» миром.

Он сидел напротив в костюме и галстуке. (Странно было, что жена не заметила его появления – смотрела в окно сквозь него.) А еще было странным, что учитель заговорил со мной не своим, а моим голосом и сразу на двух языках – на русском и азербайджанском – о вещах, которые я давно отправил в кладовые личного опыта.

Не разжимая сухого рта, то и дело поправляя чайного цвета манжеты, расплющенные масонскими запонками, учитель «говорил» мне чайными же глазами, что наша внутренняя жизнь и наше поведение являются взаимодействием сознательных и бессознательных процессов, что они существуют постоянно в некоем динамическом симбиозе, что, собственно говоря, это и привело к развитию сознания как такового, которое начало свою интенсивную работу много позднее на основе бессознательных структур мозга. Я понял так, что он намекал сейчас на «тональ» с «нагуалем»...

Всплыл образ старика индейца, сопровождаемый запахом мяты.

(Жена подливала чаю мне и себе.)

– И потому все, что мы осознаем, было уже когда-то в прошлом?

– Именно...

– Когда?

– Что когда? – вмешалась жена, обеспокоенная моими «мыслями вслух».

Я не смог ей ответить, чтобы не порвать ненароком тончайшую переговорную нить.

– Мехти-ага, – обратился я к своему учителю, будто это не он был сейчас передо мною, а кто-то другой, любил повторять: «Наш мозг знает больше, чем мы сами, возможно, поэтому наша сущность так мало значит для нас». Долго я не понимал смысла этих слов, как не понимал, например, что он имел в виду, когда говорил: «Те, кто продолжают считать, не способны видеть того, что видит сбившийся со счета».

– Никогда не делай из теории окончательных выводов, – снова он моим голосом. Что это, очередной прием?

– Выходит, невнимательность может обернуться новым знанием?

– А не говорил ли тебе случайно твой учитель, что тайна держит человека в этом мире? Лет тридцать назад ты не придавал этому большого значения, мечтал

всю свою жизнь отлить в текст, а теперь, когда птицы летают между могильными плитами родных и близких, когда нет больше меня среди вас, вдруг вспомнил и спрашиваешь «когда»?

– Мне не хватает тебя, мастер...

Мехти-ага поморщился, поднялся со стула:

– Ты же знаешь, учитель учит тому, чему хочет научиться у него ученик. Останови свою считалку. Бессознательное работает с настоящим, в результате чего сознание получает возможность путешествовать... Огигия, Огигия!.. Прекрасная Калипсо семь лет держала Одиссея, пытаюсь добиться его любви. И потом, всегда лучше попробовать горячее, чем холодное.

Кажется, я правильно истолковал совет мастера.

– Едем! – сказал жене.

– Ты уверен? – моя решительность немало удивила ее. – Учти, вся ответственность ляжет на тебя, – предупредила она на всякий случай.

– Я уверен, что он уверен, – поддержал меня Бей и, положив обе руки на спинку стула, оттянул его на себя так, что задрались передние ножки. Но жена не услышала его слов, как не услышала ударившихся о пол ножек стула – «конец сеанса». – До встречи, баран!.. – своих учеников Бей частенько называл баранами: «Разбирайте коврики, бараны, начинаем работать!», – и никто не обижался.

– Теракты случаются не только в Тунисе, – успокоил я жену.

– Тебе решать. Иди, побрейся...

Я прибежал с работы за десять минут до заказанного нами такси.

По ошибке агентства их прибыло почему-то два. (Подумалось: «Вот и началось!.. Привет от учителя?!»)

Водители сами разобрались, кому нас везти, и через час с чем-то мы уже болтались без дела в аэропорту «Домодедово».

В магазине дьюти-фри у меня в кармане дзинькнула эсэмэска – коллега по журналу сбросил обещанные номер телефона и мейл последнего участника интервью, преуспевающего неонациста, отца-основателя и главного редактора популярного сайта «Час погрома». Затем уже в «Бургеркинге» мой айфон с НТС просыпáлся попеременно еще раз десять. Киевский кор написал: «Я – Эдуард, Эдик; Эд. Алекс – это герой моего репортажа)))». Пришлось извиниться, всегда путаю авторов с героями. В зале «В» отметилась «В контакте» девушка Эмма с ногами воздушной гимнастки (длинные сильные ноги превосходнейшим приложением к ее круглому личику): «Приветик») Как дела?» С ответом решил повременить: мне, в последнем браке не изменявшему жене, сразу же пришел на ум анекдот о чайной чашке с ручкой для левшей. Вслед за «мадам Бовари» одесский автор Илья Карпенко поинтересовался, публиковали ли мы в кулинарной рубрике рецепт гефилте фиш, у него есть способ приготовления – «пальчики облизнешь», я, как человек восточный, должен его понять, тем более, что Василий уже сделал фотки в одесском ресторане «Роз марин»; лондонский кор, бывший сохнутровский гвардеец, просил уничтожить один вариант статьи и принять последний, ночной; «Автомир» советовал продать старый автомобиль и приобрести новенький «хендай солярис» с выгодой в пятьдесят тысяч рублей; Ассоциация еврейских организаций и общин Украины скинула статью «Безумье сильных требует надзора»; фирма «Потолки» в очередной раз предлагала заказать натяжной потолок и получить второй в подарок...

– Хватит уже, в конце-то концов!.. Отключай свои тренькалки!.. Все, ты недоступен... Отпуск начался... – обиделась жена, и тут объявили посадку.

Чартерный Боинг-737 оказался забит детьми и их подвыпившими родителями. Никто из российских туристов, направлявшихся в Тунис между осенью и зимой, не думал особо беспокоиться. Полагаю, о случившемся теракте, кроме нас с женой, никто из пассажиров не знал. Всеобщая бесшабашность вскоре передалась и нам.

Конечно, я бы сейчас вздремнул с часочек, накрывшись пледом, но с армейской поры не имею привычки спать в самолетах.

Пока машина набирает высоту, я люблю чем-то занять себя, листаю замусоленный глянец, который авиакомпании обычно кладут в карман на спинке кресла вместе с проспектами и прочей рекламной чепухой. А там, глядишь, и стюардесса-мисс-чего-там (шелковый платочек, завязанный на ковбойский манер – мы так завязывали пионерские галстуки), подойдет со своим волшебным коробом на колесиках, заботливо предложит соку или минеральной воды...

После набора высоты я предпочитаю возиться с текстами: со своими, если есть настроение, если нет – с текстами наших колумнистов. В дорогу я всегда тащу в рюкзаке эплловский планшет и самсунговский нетбук. Раньше казалось, на планшете особенно не разгонишься, к примеру, редактировать на нетбуке много проще, теперь вот пользуюсь исключительно планшетом, и в метро, и дома. В особенности после того, как мы с женой с промежутком менее получаса залили мой настольный ноутбук «Тошибу»: она – ореховым ликером, я – коньяком. Поздравляли по скайпу с Новым годом ее брата и его жену. Вышло – самих себя. Клавиши на компе теперь ходят липко-хрустко, напрочь забывая о существовании гласных, но зато продлевая согласные. Мои имя и фамилия, к примеру, звучат так: «йскмлннн». Произнести их вряд ли у кого получится, да еще в сопровождении, похожем на хруст в шейном отделе позвоночника после тяжелого сна на казенной кровати. Но меня это устраивает, по-моему, ни у одного человека нет столько имен, сколько у меня, я их, можно сказать, коллекционирую. Может быть, поэтому я все никак не найду времени отнестись свою «Тошибу» в ремонт. Я бы и сейчас поработал на планшете, но дочь смотрит на нем в сто первый раз «Унесенных ветром». Когда я предложил ей для разнообразия посмотреть «Мост Ватерлоо» с той же Вивьен Ли, она ответила, что пока еще не готова. Я особо не настаивал, сколько раз сам пересматривал «Плату за страх» Анри-Жоржа К्लюзо с Ивом Монтаном в главной роли.

Чем сосредоточенней становилось лицо дочери, тем больше она сама походила на Вивьен Ли. Такое глубокое погружение, по ходу которого меняются черты лица, обнаруживая типологическое сходство с главным героем, тоже было когда-то моим свойством. Свойством странным, меняющим самый состав моего «я», можно сказать, медиумическим, которому я долго сопротивлялся и подыскивал объяснения, придя позднее, не без помощи доктора Штайнера, к выводу, что сие есть характерная особенность недовольщенных людей. (Даже эвритмией занимался под руководством фрау Ботмер, недолго, правда, пока она не вернулась к себе в Калифорнию.) Сейчас я отношусь к этому объяснению с мрачной улыбкой крутолобого философа. Греческого, разумеется, потому как сильно сомневаюсь, что Штайнер вообще умел улыбаться. А когда-то, помнится, мне льстило, что наша улица в один голос уверяла, что я-де похож на Джулиано Джеммо. Почему? Не знаю. Ни героическим складом характера, ни высоченным ростом, ни, как оказалось спустя четверть века, густой шевелюрой, разделенной боковым пробором, я на него не похож. Но то сейчас, а в те наши киношные годы отдаленное сходство вполне могло быть, неспроста же так говорила улица. Возможно, на каком-то из этапов пути я растерял то, что могло достаться мне с экрана и стать частью меня, моего образа, моей нынешней натуры. (Бей сказал бы – импрессы.) Жалко, конечно...

Я глянул на дочь и вспомнил нашу поездку в Испанию. Жене неправильно оформили визу, и мы прилетели в Аликанте вдвоем с дочерью. В первый же день я купил ей солнцезащитные очки в сетевом магазине «Але хоп», после чего мы предприняли пешую прогулку на другой конец Бенидорма. Дошли аж до отеля «Бали» и поднялись на смотровую площадку, с которой, казалось, видно было все побережье Коста-Бланки. А потом, когда мы спустились и пили кофе в кафе, позвонила жена из Москвы, сказала, что визу выправили и завтра она прилетит к нам. Какое же счастье

было услышать ее шаги в узком пространстве гостиничного коридора. Помню, как открыл дверь, выскочил навстречу, схватил чемодан.

Мне тогда показалось, что я понял, почему мне никто не нужен, кроме нее. Это было неозвученным своеобразным признанием в любви тертого жизнью мужика.

В тот же день мы покинули Бенидорм и уехали в Альтею. Мы пили сангрию, бродили по самому безмятежному городку в мире, по самым тихим улочкам на земле, которые, казалось, все заканчивались лестницами в небо.

Сначала, если быть точным, вели к храмам, а потом уж в небо. В одном из магазинчиков купили дочери полукеды от «Лакосты», о которых она мечтала в Москве. Вишневого цвета. Дочка тут же сделала сэлфи рядом с граффити Одри Хэпберн на кирпичной стене у автобусной остановки. После снова вернулись в Бенидорм, через некоторое время махнули на электричке в Аликанте, чтобы отметить на вершине крепости Санта Барбара, потом нас встречала раскаленная майским солнцем Валенсия, местами напоминавшая Баку моего детства, особенно в районе Шелковой биржи, а потом...

«Потом?!»

Я стиснул двумя пальцами переносицу, когда понял, что никакое это не воспоминание. Поездка в Испанию, милостью Божьей, случится только на следующий год. И было неудобно перед женою и дочерью, что я так забежал вперед, так оторвался от них. Но что поделать, со мною, саньясином-писакой, подобного рода вещи случаются. Причем меня всегда поражала педантичная точность таких «воспоминаний». Хотя названия автобусных остановок сверяй. Иногда я предугадываю фильмы, которые будут показывать по телевизору только через две, а то и три недели – но только те фильмы, которые я уже видел, новые моя антенна почему-то не улавливает, иногда исход футбольных матчей. Удивительно, но эта способность, к слову сказать, отбирающая массу энергии, никогда не уберегала меня от обидных, непозволительных ошибок. Иногда даже кажется, что я совершал их умышленно, чтобы таким образом что-то кому-то доказать или принести жертву. Но даже если бы я их и не совершал, эти ошибки, совсем не уверен, что дар предвидения мог бы помочь мне на крутых виражах судьбы.

Я вспомнил – на сей раз это точно воспоминание, – как однажды услышал на городском пляже в Сочи голос (внутренний?! разве сообщения такого рода могут быть внутренними?): «Своим родителям родителем станешь ты». Расшифровывать смысл телеграммы-молнии, долетевшей ко мне из неведомых миров, долго не пришлось. Вскоре заболела мама и буквально через несколько месяцев ушла из жизни, а потом, проболев несколько лет, приказал долго жить и отец. Я потерял не просто родителей, наставников и заступников, но самых лучших, самых преданных из моих друзей. Возможно, мне не повезло родиться чистым евреем или чистым азербайджанцем, но зато с родителями мне точно повезло. С их уходом для меня закрылась целая эпоха, мир дал глубокую трещину. И многие вещи теперь смотрятся иначе. И сам я стал другим. Совсем другим. Прежний опыт мне теперь не помощник.

В таких случаях Бей говорил: «Человеку дано начинать жизнь сызнова три раза, – тут он непременно цитировал Ричарда Баха, – и каждый раз это полет сквозь стену, который мы еще не проходили».

Загорелось табло: мы вошли в зону повышенной турбулентности. Стюардесса в синей облегающей юбке и коротеньком кителе ходила вдоль рядов и проверяла, все ли пассажиры пристегнулись. А потом в салоне самолета погас основной свет.

На время все приутихло, натужно улыбаясь. Даже человек с выпуклыми глазами, налитыми водкой, начавший доставать всех еще при посадке в самолет, которого мы семейно окрестили Шреком, теперь сидел на удивление смирно. Уставившись в спинку кресла, он, казалось, вспоминал что-то важное из далекого прошлого, когда он еще не бухал так, как сейчас, и не говорил через каждую минуту «пardonте меня».



Сразу же после тряски самолет начал снижаться. Он словно перепрыгивал через ступеньки гигантской лестницы во мгле.

Включился свет.

Кто-то уже похлопывал себя по нагрудному карману, проверяя, на месте ли бумажник с паспортом, кто-то бросал в рот предусмотрительно заныканный леденец, кто-то просто сглатывал слюну, чтоб не закладывало уши.

Три тысячи километров, четыре часа лета, и вот мы увидели в темноте абсолютно черную липко-сиропную Африку. Кусочек обсидиана со сколами, напоминающий местами мою залитую ликером и коньяком «Тошибу».

Африка подрагивала слабыми огоньками, связанными тоненькими золотыми и серебряными нитями. Притягивала к себе с той древней силой, какой нет у Европы и Азии.

Выходило, в первый раз покинули мы родной материк. В голове крутилось что-то гумилёвское, жирафоподобное-озерно-чадное, замешанное на шестом чувстве...

Ночью добрались до отеля.

Где-то неподалеку за камнем и стеклом шумело море.

Трепетали под теплым ветром флаги отеля.

На нас надели пластиковые браслеты, и через полчаса, приписавшись к месту, мы поднялись к себе в номер на третий этаж.

В большой квадратной комнате стояли широкая кровать, выдавший виды желтый диван и оттоманка возле вздрагивающего маленького холодильника. Все работало исправно – щелчок по носу блогерам. В сейф ничего не клали: чемоданы у нас были с кодовыми замками. К тому же, посмотрев на доброжелательную службу, как-то не хотелось верить тем, кто писал в отзывах о повсеместном воровстве. Единственное, чего в номере не доставало, это телевизора. Но, по правде сказать, оно и к лучшему: во всех отелях, где нам доводилось бывать, телевизоры ловили по два-три российских канала, возможно, администрации отелей хотелось потрафить нашему брату туристу, возможно, изменилось отношение к самой России, не буду гадать, однако, знаю точно – когда, полистав все каналы, мы останавливались на отечественных, от одного лишь взгляда на лица наших депутатов и дикторов новостных программ у меня неизменно начинало портиться настроение и расти чувство тревоги, неуверенности в завтрашнем дне, а если учесть еще то обстоятельство, что с переездом на новую квартиру и ремонтом мы нахватили долгов, меня можно было понять.

Переодевшись, мы поспешили на прилегавшую к отелю территорию и направились к морю мимо окон, за которыми отдыхающие неспешно потягивали коктейли «все включено», ловили бесплатный вай-фай, рапортовали Родине, что все идет своим чередом; мимо столиков, на которых масляные лампы мерцали далекими кострами кочевников; мимо сосредоточенно-хмурого берберийца в белой рубашке, медленно раскуривавшего кальян для двух айфонистых матрон из российской глубинки.

Дамы, из тех, что предпочитают посыпать настоящее и будущее стразиками, в сокрушительно легких, просвечивающихся платицах явно намеревались склеиться этой ночью с кем-то из вновь прибывших, но мужчины неизменно оказывались обремененными женами и детьми, и незадавшаяся операция под кодовым названием «Любительницы наргиле» лишь усиливала их недовольство отдыхом в частности и жизнью вообще.

Поравнявшись с бассейном, мы остановились ненадолго: куда идти, в какую сторону?

Оставленные кем-то ядовито-синие вьетнамки отказывались служить нам навигатором.

Бирюзовая, подсвеченная снизу вода отдыхала от солнца и архимедовых положений, о чем свидетельствовали подсыхающие лужицы рядом с бассейном.

Прислушались...

Море шумело где-то рядом, в ста метрах, если не меньше. Пошли прямо по дорожке и не обманулись – через десяток шелестящих пальм вышли к берегу.

Небо и море были чернильного цвета, а звезды такие низкие, такие бесчеловечно правдивые, что без бедуинской подготовки смотреть на них было страшно, – не звезды, а какое-то предсказание роду человеческому. И все-таки я пересилил себя, задрал голову, выбрал первую же попавшуюся мерцающую хрустальную россыпь, нырнул в нее, и все обязательства оказались побоку, и голова кругом пошла от первого внезапного освобождения, и тут же подумалось, что на Востоке даже в ноябре для счастья немного нужно.

После мягкого приземления захотелось почувствовать, как расползается под ногами песок; я снял мокасины, носки, закатал брюки и вошел по щиколотку в воду.

«Все идет своим чередом», – передал я по своей внутренней беспроводной связи неизвестно кому и чего ради. Может, тому искателю, который заступит когда-нибудь на мое место?

– Холодная? – спросила жена.

– Пап, холодная? – повторила за нею дочь.

– В Красном море летом холоднее. – И вспомнил, как еще вчера автомобильный гуру «Эха Москвы» Сан Саныч Пикуленко советовал автомобилистам «переобуться» и заправить в бак омывателя незамерзающей жидкости. (Вернемся, надо будет поменять колеса.)

Вышел из воды, и мы неспешно двинулись назад с уже переведенными стрелками часов с московского на тунисское время.

После ожидания в аэропорту, после самолета и автобуса страшно хотелось курить. Я отстал от своих, жадно закурил первую в Тунисе сигарету...

Одни и те же сигареты в Москве и Тунисе курились по-разному. Думаю, это не только из-за резкой смены климатических поясов, морского воздуха, просто в московских дебрях сигареты помогают мне отсекать очень важные вещи ради еще более важных вещей. Научившись этому сложному искусству, я теперь даже фильмы до конца не досматриваю, книги не дочитываю, из гостей бегу вперед остальных, случается, по ночам просыпаюсь и подолгу уснуть не могу, все боюсь упустить во сне какую-то очень важную информацию для себя. А здесь владения мастерством жертвоприношения, по всей вероятности, не требуется, здесь ты просто куришь и все.

И как только я так подумал и в очередной раз с кайфом глубоко затянулся, со стороны бассейна подлетела ко мне босоногая длинноволосая дева, лица которой я и разглядеть толком не успел, так, какое-то темное пятно с вздернутым носиком, обвила мою шею руками и накрыла горячим поцелуем.

Это был поцелуй мгновенный, не то чтобы пьяный, хотя от девушки и несло спиртным, но, несомненно, шальной какой-то и, возможно, с ловушкой.

Все, что я успел сделать в целях ее безопасности – это отставить руку с сигаретой, а в целях своей – посмотреть через ее голое плечо, не видят ли меня жена и дочь.

Они не видели...

Зато заметили две курильщицы кальяна.

Я еще не успел прийти в себя от жаркой и влажной печати на губах, рожденной в чувственном табачном полумраке, а айфонистки-кальянщицы уже зыркали так, будто я нарушил тайный обет и должен был поплатиться за это.

В ответ я глянул на них глазами своего дублера, находчивого и циничного малюга, ничем не обремененного, моложе меня, как минимум, на четвертак.

Кальянщицы отвернулись в сторону бассейна и пальм.

Прояснилось все буквально через пару шагов. Бассарида юная вбежала в раскрытые стеклянные двери, из которых несло горячее танцевальное «бум-бум», и я

увидел за вспыхивающими окнами дискотеки, как она, пританцовывая, поцеловала сначала одного, потом другого и понеслась к третьему, уже сокрытому от меня меж-оконным промежутком. Не было сомнений, что этим поцелуям девица вела счет.

«Так это было всего лишь игрою? – легло поверху предыдущих мыслей. – А ты что думал, старый пень? – спросил я себя. – Может, она поспорила со своим женихом на сто двадцать тысяч поцелуев?»

Жена с дочерью обернулись, я помахал им – сейчас догоню.

Мы еще в Москве условились из отеля не выходить, но, отдав должное морю, солнцу и тунисской кухне (в особенности блюдам из свежей рыбы и восточным сладостям), на третий день покинули-таки свое лежбище.

Втайне я хотел вырваться на Джербу, посмотреть одну из самых древних си-нагог, а еще очень хотел, чтобы мы съездили в Бизерту, место, где был спущен Андреевский флаг, это было бы поклоном отцу – мареману. Да и как без развалин Карфагена?!

На ресепшн договорились, что сначала нас повезут в тот самый взрывоопасный Сусс.

– Сегодня в Сусс, а послезавтра в столицу, в Тунис. Если группа наберется. Русские почему-то все норовят в Сахару. – Миловидная тунисская барышня, не ярко выраженная мусульманка, щебетавшая по-английски, точно героиня викторианского телесериала, нащелкала пухленьким пальчиком чей-то телефонный номер, поговорила недолго на местном наречии, после чего сообщила нам, что ровно через час прибудет наш прожорливый (Камаль? Саид? Абдулла?.. не помню точно, как его звали) на своем «рено»...

Жена перевела мне ее слова, но я и так все понял.

– Можете быть спокойны, мадам, – обратилась она к жене, – это вполне надежный человек, у него большая семья. – И через какое-то время добавила: – Но все равно до сумерек неплохо бы вам вернуться в отель.

– Надо дать ему хорошие чаевые, – сказала жена, когда мы отправлялись в номер скоротать час. Она, видимо, по-своему связала тунисские сумерки с большой семьей водителя «рено».

Жена прилегла отдохнуть, дочь взялась просматривать этюды, которые начала делать в скетчбуке сразу же по приезду, ей предстояло сдать зачет в Краснопресненской художественной школе, я же отправился принять душ, потому что через полчаса, когда девчонки мои начнут одеваться, времени у меня уже не будет. Да и убедиться хотел под струями африканской воды, так ли уж нужен нам этот Сусс?

Едва вошел в ванную комнату, как тут же попалась на глаза женина баночка в окружении косметических башенок, на которой было написано белом по черному: «Syoss».

Вопрос отпал сам собой: «Кроме того, Бей ведет меня, несомненно, ведет... Ом!..»

Камаль-Саид-Абдулла не умолкал ни на секунду, его самодельный английский напоминал скрежет разбитого о бакинский асфальт подшипника на роликовом коньке. Он делал все сразу – рулил, курил, крутил четки...

– Смотрите, – восторженно, с детской наивностью указывал нам Камаль-Саид-Абдулла на пролетающую мимо электричку, составленную из трех-четырёх пыльных вагонов с разбитыми стеклами, – это наше метро!

– О-и, метро!.. – подыгрывали мы ему, дивясь замусоренным улицам и невыразительной архитектуре двух-трехэтажных зданий и частных магазинчиков, перестроенных из гаражей.

Впрочем, гид из него был, что надо: он честно сказал нам, что больше двух часов в Суссе делать нечего, довез до площади неподалеку от Медины и остался нас ждать.

– Медина, порт – и все... Будьте осторожны, на всякий случай – номер моего телефона, – и, улыбнувшись, протянул мне отксеренную визитку.

Мне показалось, я понял, чего мне так не хватало в википедийных справках о Тунисе, – случайных улыбок случайных людей.

Уже на подступах к Медине двое каких-то ребят околдовали нас совсем другими улыбками, предлагая задаром провести через лабиринты Старого города. Поскольку свой маршрут за неимением другого мы сменить не могли, архаровцы неслись впереди нас, расчищая нам дорогу и что-то выкрикивая на арабском. Подозреваю – оповещали торговцев о приближении последних в этом году беспечных московских туристов.

Я был занят пением муллы, которого не видел, но зато хорошо слышал, поэтому не сразу откликнулся на просьбу жены перевесить рюкзак со спины на грудь.

– Послушай, чего нам бояться?

– Послушай, сделай, как я говорю! – и после того, как я перевесил рюкзак, взяла меня под руку, а дочь крепче за руку.

Провожатые наши с дикими возгласами: «Мсье, мадам!.. Мсье, мадам!..» – водили нас из одного магазинчика в другой, словно распахивая невидимые двери в иные миры, каковых на той тесной улочке было не счесть.

Миры в сусской Медине все были параллельными, особо разнообразием не баловали – все те же кальяны, обереги с молитвой из Корана, глиняные лампы, специи, сладости, масла, изделия из верблюжьей кожи, золото неизвестно какой пробы, серебро, бирюза и кораллы, а еще тарелочки разных размеров, обшитые кожей, естественно, с Нотр-Дам де Тунис или с теми самыми верблюдами, которых я сначала видел в своих московских снах, а затем на пляже между Монастиром и Суссом.

Специально для таких, как мы, не умеющих и не желающих торговаться, считающих сие базарное искусство безобразным пережитком прошлого, висела табличка на одной из дверей – «Торг уместен. Торг – не сложное слово для Сусса», но даже родная кириллица не помогла, мы наскоро покинули Крепость, оставившую по себе довольно смешанное, по большей части неприятное чувство, усугубившееся траурной процессией, перегородившей нам дорогу неподалеку от старой мечети.

Наконец, до меня дошло, зачем пел мулла. И еще – почему я обратил на это внимание: википедийная справка умалчивала о том, что люди в Тунисе смертны, как везде, и, как везде, покойникам предстоит прорываться сквозь будничную маету с билетом, когда-то оторванным от ленты Кондуктора.

Кем был усопший при жизни? Мог ли рассчитывать на «счастливого билетик»? Далеко ли от рынка до кладбища? Неужто как от кладбища до рынка? Судя по процессии, по той деловитости, с какой восточные люди втапливали носилки с покойником в распахнутые задние двери белого фургончика «пежо», – это так. Но ведь есть тут, наверное, и другие маршруты, в огиб кладбищенским, есть, наконец, море, бескрайнее, с небом породненное.

Оставшееся время мы посвятили неспешной прогулке вдоль порта. Местами он так походил на бакинский в районе Баилово, что я тут же распечатал новую пачку сигарет. А закурив, вспомнил, что так и не успел до отъезда сходить на кладбище к папе с мамой... Пообещал себе, что непременно сделаю это сразу после возвращения в Москву, и крикливые чайки записали между морем и небом мое обещание, взяв в свидетели маяк, корабли, краны, прибрежные валуны с ютубными рыбаками.

Камаль-Саид-Абдулла не подвел, все то время, что мы бродили, этот почтенный араб ждал нас и тоже смотрел на море. Смотрел, наверное, иначе, чем мы, ведь это был кусок его моря и кусок его неба.

Кормили здесь совсем даже ничего, вот только кофе у них растворимый и чай в пакетиках. Зато много мяса, хорошего сыра, овощей, фруктов. Хлеб домашней выпечки. По утрам, когда мы едим, слышно, как поют птицы и шелестят пальмы. Впро-

чем, иногда птичье пение заглушает громогласное восклицание моего самолетного соседа Шрека: «Еханий бабай, до чего ж хорошо-то, а!..» Этим ритуальным трубным гласом, вызванным крайней степенью позитивного воздействия окружающей среды, Шрек отмечает шумное падение своего круглого тела в бассейн. Потревоженные «еханым бабаем» африканские птицы какое-то время молчат, но вскоре снова берутся за старое.

После завтрака бой принес в номер телевизор, небольшой интерактивный «грундик». Пока мои девчонки переодевались, я решил растолкать его, нацеливая плазменный тунисский глаз на отечественные новости.

Неухоженный казенный ландшафт накрывало знакомое чахлое небо. Оказывается, в России вчера была дождливая осень, и в небе снова жгли корабли.

«Русский марш» в Люблино.

Черные люди под черными зонтами...

Интересно, что они чувствуют, эти люди в черном, на самом деле, если способны, конечно, чувствовать, знают ли, что фантом, вызываемый ими, – это они сами и есть, что Гензерих уже идет на Москву и стучать в двери не будет, или это просто забава у них такая национальная, заложенная в генах с незапамятных времен? «Наши – не наши!», «Общий суп», «Детские парады»...

– Выключи его, Боги ради, – морщится жена. – А ты помнишь, как мы катались с тобой на фашистской лодке в Кузьминках?

Конечно, помню. Это было в 1998 году. Мы тогда только вернулись из Крыма, отдыхали у маминой подруги, и те двенадцать дней, что провели у нее в Алуште, можно было назвать «медовым месяцем», не в количестве же дней дело. Мы так сроднились с морем, что в первые же московские выходные отправились в ближайший парк, поближе к какой никакой, а все ж воде.

Жена увидела лодки на берегу и захотела покататься. Я пошел узнать, кому они принадлежат. Чета велосипедистов, которую я остановил у конных лепешек, оставленных беззаботным милицейским патрулем, сказала, что мне надо забраться на холм, расположенный на противоположном берегу: «Там, на холме, и обитают хозяева лодок. Только будьте осторожней, они странные какие-то...»

Восхождение оказалось совсем нетрудным, и вскоре я уже топтался на огороженной территории. Во дворе заметил несколько макивар. Они были вкопаны в землю так же, как и макивары во дворике Бея в Баку, и так же умело оплетены сверху. Мне даже на мгновение показалось, что я угодил в гнездо здешних «искателей». Я ошибся.

Два коловрата: большой – на стене домика и маленький – на двери, подсказали мне, куда я попал.

Разгоряченный хозяин с дымчатым татуированным торсом и забитым дыханием (кажется, я оторвал его от «железной» тренировки) встретил меня на пороге. Зачем-то прикидывая, в какой весовой категории мой визави, я спросил, могу ли покататься на лодке и сколько будет стоить все это удовольствие. «Не вопрос, пожалуйста. – Просто сама любезность. – Сколько дадите, столько и будет стоить. Вон та лодка вас устроит?»

Он заикался, этот первый встреченный мною «коловратник». Но водянистые глаза его как-то опасно поблескивали, как глаза людей, фанатично преданных какой-нибудь бесполовой громоздкой идее, когда они случайно встречают своих потенциальных оппонентов. Я, помнится, тогда еще подумал, что у всего мистического, оккультного в этом мире две стороны, две дороги, что прошлое подвижно, оно перетекает из матрицы в матрицу в зависимости от настоящего, от заданного направления мыслей, от усердия одного человека или группы людей; что ложь, в отличие от правды, – сложнейший из механизмов, работа которого, в свою очередь, связана с петлями вокруг мифа, из которого все мы родом.

Жене я не хотел ничего говорить. Мы просто катались на лодке, просто смотрели на уток и лебедей. Просто трогали пальцем кувшинки. И жизнь скользила просто, потому что когда-то на каком-то участке бытования разогналась.

– На сколько ты взял лодку? – томно спросила жена, рукою касаясь воды и отстраненно следя за двумя расходящимися линиями.

– На сорок минут.

– А ты успеешь вернуться назад? – мы как раз подплывали к небольшому островку, который сторожила неразлучная пара лебедей.

– Не знаю. Ну, доплатим в крайнем случае.

И тут дернуло меня все рассказать.

– Как же так? – недоумевала жена. – Повсюду люди, дети...

– И конная милиция... – зачем-то добавил я.

– Зачем ты взял эту лодку?

– А у меня был выбор?

– Я не буду больше кататься.

– Поплыли назад?

– Поплыли назад.

Назад, в край нибелунгов, я греб взапуски что было силы и никогда не чувствовал себя так полуевреем, как в тот момент, на идеальной зеркальной глади голицынского пруда.

После этого случая я купил несколько серьезных книг об истории фашизма, но читать их так и не стал. Предпочел защититься «Облаком, озером, башней» и «Приглашением на казнь».

Вчера мне снилось, как я, сидя на коврике, делаю тройное намасте и поклон мастеру. Лица мастера я так и не разглядел; это мог быть отец, мог быть и Мехти-ага. Особого значения этому сну я не придал.

Какие бы сны я ни видел, сколько бы часов ни спал и где бы ни находился, каждое утро я начинаю с «пяти тибетцев». Иногда добавляю к ним комплекс упражнений «Сурья намаскар», прохожу в двенадцати асанах «солнечный круг». Только после «тибетцев» и «поклонения солнцу» принимаю контрастный душ, завтракаю омлетом и чашкой кофе, несусь в журнал.

В Тунисе я работаю, где придется, чаще всего на пляже. С лежаками, полотенцами и бабочками – нет проблем. Мы ложимся втроем у самой кромки моря. Жена и дочь читают, я работаю. На себя или на журнал. Когда работаю на себя, просто сами смотрю на море, когда на журнал – правлю расшифровку, пробую досочинить врез и комментарий. Если мне позарез нужен вай-фай, иду в кафе, тут же на берегу, неподалеку.

Прибой выносит из моря и обкатывает тысячи травяных шариков. Я ищу самый большой, величиной с теннисный мячик, чтобы потом «жонглировать» им в кафе – перекидывать из руки в руку. (Для поиска нужных слов самое то.) Пью кофе с сильным привкусом шоколада и разбавленный тоником джин. Джин – это единственный напиток, который тут можно употреблять, все, что джином не является, напоминает нечто среднее между чимирухой времен моей службы в ВВС и жидкостью для мытья посуды. Во всяком случае, от большинства коктейлей пахнет так же, как от нашей еврейской автомойки в Марьиной роще.

Пишу я от руки фаберовским карандашом в яснополянском блокноте или на оборотной стороне пригласительных карточек, оставшихся у меня после Песаха. На тоненьком финском картоне очень удобно писать и стирать ластиком. Моим почерком получается ровно семьсот знаков с пробелами. Карточка – врез. Полкарточки – коммент.

Еще в Москве я успел связаться с тремя моими собеседниками и взять у них интервью по телефону. Первый, с кем мне удалось поговорить, был директор одного

влиятельного аналитического центра с птичьим названием. Сравнить бирюлевские события с историческими еврейскими погромами он не решился, но на мой вопрос, пора ли бояться евреям, ответил, понимающе хмыкнув: «Вероятно, уже пора, хотя страсти пока направлены не на них». Вторым по списку шел известный журналист, телеведущий и общественный деятель. Человек с «гибким позвоночником» (он сам о себе сказал так на «Эхе») высказался, что власть не нашла золотой середины, что она видит своих оппонентов в людях с Болотной, но не в людях из Бирюлева. Под номером три отстрелялась видный культуролог, специалист по вопросам транскультурации. Ее скрупулезное, на девятьсот страниц исследование постсоветской литературы когда-то наделало много шума, правда, больше там, чем здесь. Она вообще больше известна у них, чем у нас, в результате чего последние свои книги пишет исключительно на английском языке. «...За новомодными разговорами о провокационной политике иммиграции, ассимиляции и толерантности, – задал я ей направление, – стало ясно, насколько ускорилось наше движение от империи к провинции без моря и солнца. В чем отличие сегодняшней России от других бывших империй?» Она дала волю чувствам – объем превысила втрое. По содержанию – почти Зонтаг. Что теперь делать, не знаю. Сокращать – обидно и перед человеком неудобно. Буду просить добавочную полосу. Рабочее название материала: «От империи к провинции без моря и солнца». Думаю – не прокатит. Тут название должно быть, как кулак председателя колхоза, пахнущий черноземом и соляркой. Врез пока что тоже рассыпается: «Выступления на межэтнической почве в Бирюлеве, поводом к которым послужило произошедшее 10 октября убийство москвича Егора Щербакова, народ в Сети упорно называет «бирюлевским погромом». В отличие от «добрых» юристов, оценивающих происшедшее как обычное хулиганство, народ суров, но к истине, похоже, близок. Что знали мы раньше, нарезаая полезные салаты, об овощебазах – «постоянных источниках напряженности», об отрядах «самообороны и возмездия»...» Справа от обрыва пишу: «Когда институциональные возможности исчерпаны... Дорога вниз имеет одну остановку... От нормальной рефлексии к мифологии... Раскол общества... Счастливые больные люди... Соперничество двух кланов – Баркидов и Сципионов/битва при Каннах...» (Последняя пометка – для себя, для моря...)

Пока в моем еврейском журнале идут холодные московские дожди, я связался и с Домиником Дагером – четвертым участником, чьи контакты получил перед самым вылетом. Доминик Дагер – это его ник, пен-нейм, возможно – альтер эго... Как на самом деле зовут этого процветающего неонациста, не знаю, да мне это и ни к чему, хотя человек он, судя по всему, отнюдь не простой, и можно было бы заинтересоваться. Доминик предложил мне прислать вопросы по почте. Ответить обещал в течение трех-четырех дней. Если так – время еще есть, успею.

Я увидел анфас человека, которому принадлежал влажный чернящий глаз из моего московского полувидения. По прошлой жизни человек этот не был мне знаком. Могу положиться полностью на свою память. Я точно ни у кого не видел такую аккуратно выбритую бородку-струйку под нижней губой: гид походил скорее на итальянца, чем на тунисца. Этакий молодой профессор левых взглядов из вольнолюбивого Болонского университета. В дополнение к римскому праву тип этот, несомненно, изучал еще и риторику.

Психика, как у восточного человека, подвижная чрезвычайно, о чем свидетельствуют его неспокойные глаза. Миф о зарождении Карфагена (он называет его Картажем) рассказывает в лицах на убийственном русском, который, тем не менее, понятен его носителям. Крутится в кресле: то лицом к дороге повернется, то к нам.

Он прав, рассказывать о Тунисе нужно в летящем автобусе, на развалинах Картажа не до того будет.

Он говорит, что Карфаген – это Европа, Азия и Африка одновременно. Теперь я понимаю, почему так плохо сплю в номере, оказывается, дело вовсе не в холо-

дильнике, вздрагивающем через каждые пятнадцать минут и обретающем при каждом вздрагивании мощь тридцати восьми Ганнибаловых слонов.

– Тофет – есть место, где жертвы много приносить, в том числе человеческий, и поэтому ученые называют его в научной литературе – святилище Тиннит, еще называть тофетом Саламбо...

Мне, фану Флобера, следовало бы подумать заранее, закачать в планшет «Саламбо», сейчас бы на Атласский хребет по-другому смотрел и по-другому гида слушал.

На нем какая-то полуармейская шляпа-панамы с дырочками, то ли купленная за гроши на барахолке, то ли в дорогом бутике за сумасшедшие деньги, жеваный шарф дважды обмотан вокруг поднятого воротника затертой куртки-«пилот».

– Судьба Карфаген не быть на магистральном направлении нашего исторического знания. Мы все получаем воспитание в европейской традиции, потому есть наша привычка всегда отождествлять древность с Египтом, Римом, Грецией, Иудей, и это не есть совсем правильно!.. Карфаген был основан за семьдесят лет до Рима и за пятьдесят лет до начала Троянской войны...

Проверить нельзя, но что такое пятьдесят лет, я знаю, мне уже полтинник с хвостиком. Сколько надо взять по пятьдесят, чтобы запустить руку в жирные оливки, которыми собирался потчевать сенаторов Катон – заносчивое дитя Рима, зачинщик Третьей Пунической?

Оказывается, Катон побывал в Карфагене в составе римского посольства. Ожидал обнаружить признаки упадка, а увидел город-рай.

– Карфаген вновь представляет большой опасность для Рима. – Голос его дребезжит: – Катон думать, как ему убедить сенат, чтобы начать третий войн. Он высылет перед сенаторами жирный оливки и, если они не понимают его, будет сказать прямо: «Земля, где они растут, расположена всего в трех днях морского перехода». (Неужто и гид подкинут мне Беем?)

Похоже, Катон, подгоняемый предсказаниями авгуров, достал-таки сенат.

– В 146 году до нашей эры город был сожжен и был скрыт, а его граждане были убиты или проданы в рабство. – После чего выдает на чистом русском: – Так погиб Карфаген! И превратился в руины, в землю, засеянную солью.

Птицы поют, как весной в Москве, по команде свыше умолкают и снова поют. Бугенвилля вся в цвету. (Цвета на любовью вкус.) Пальмы, олеандры, розы... Виллы состоятельных людей дремлют за заборами из ноздреватого песчаника.

Сады застыли. Воздух неподвижен.

А вот и руины былого величия... Все рядом, и все смешалось... И над всем этим замесом президентский дворец. Хорошее местечко отхватил себе тунисский лидер.

– Для туристов в Карфаген есть наиболее интересен Археологический парк терм Антонина Пия, который расположен между береговой линией и дорог на Сидибу-Саид, куда мы через полчаса с вами направляться. Но сначала будем заехать в Национальный музей Карфагена.

Что можно успеть за полчаса, чудак-человек? И куда все-таки мы раньше поедем?

Обычно на развалинах полчаса я только ищу необходимое мне место. Чтобы «просканировать» его, мне нужно еще хотя бы минут десять-пятнадцать. Больше не выдержать, да и возможности такой никогда не бывает. Я вообще медитирую недолго, по приезде в Москву осмысливаю приобретенный опыт и лишь после этого бережно укладываю его в «тональ».

Гид еще что-то говорил, но мне изрядно надоели приступы его конвульсий, его «быль» и «есть» и, видно, не мне одному, потому как группа наша разлетелась, стоило нам спуститься к развалинам. Одни принялись щелкать президентский дворец на высоком холме, другие – сквозь траву-мураву мрамор и мозаику, поверженные



здания, устремленные к небу обезглавленные колонны...

А небо над Карфагеном было в этот момент таким, словно его специально для нас доставили сюда из Москвы. Сквозь разрывы туч проглядывали яркие лучи солнца, и в местах, куда они падали, море слепило глаз чешуей.

Если оно и отступило от берега за прошедшие столетия, то совсем немного.

Море было рядом, и оно было действующим: по нему плыли – или, как сказал бы мой отец, «ходили» – суда, и как только я заменил их совершенные современные очертания на приблизительные пунические, не составило труда догадаться, почему этот город построили именно здесь, на этом месте, почему тот финикийский купец, мое первое воплощение, плыл именно сюда, почему Карфаген уничтожили, а затем возвели снова. Подумалось вдогонку, что развалины, по которым мы слоняемся, напоминают то ли лабиринт, то ли кусок сакрального текста, от которого осталась одна буква.

Никогда бы не подумал, что одна-единственная буква может помочь мне соединить временной разрыв в тысячи лет, что комментарий к бирюлевским событиям придет сверху сам собой, без каких-либо заметных усилий с моей стороны: «Проблему Бирюлева не решить облавами на гастарбайтеров и закрытием овощебаз. Все прекрасно понимают, что это проблема не столько этнокультурная, сколько социальная, экономическая, политическая. Чиновники и правоохранительные структуры боятся не столько погромщиков и оппозиционеров с Болотной, сколько внутренних разборок, их разоблачающих, а власть – событий, похожих на август 1991 года, а потому благоразумно усиливает борьбу с картошкой, капустой и прочими овощами. Самое главное – не превратиться нам в один большой овощ – очередной Хрустальной ночью могут не разобрать, кто танцует лезгинку, а кто – семь сорок».

Я оглядываюсь вокруг, пробую представить себе, как карфагеняне танцевали тут свою лезгинку. Меня сбивает гид: «А вот там была публичный дом!» И, почувствовав, что не произвел должного впечатления, добавляет: «Публичный дом для состоятельных людей».

Несколько наших туристов лениво потянулись к тому, что называлось «публичным домом», – наверняка удостовериться в состоятельности когдатошних завсегдатаев заведения.

Древний дом терпимости находился прямо под резиденцией президента Туниса, и я не мог не вспомнить, что один из знаменитых борделей Баку, которым командовала в начале 80-х прошлого века бандерша Эльза, тоже располагался неподалеку от Дома правительства. Странное дело, кто к кому веками тянется?

Меня заинтересовали несколько разбитых камней с латинскими надписями. Подумал, неплохо было бы их «просканировать», не то чтобы они прямо-таки с небес упали, но все-таки... Я ошибся, ничего интересного. Естественно, в сравнении с тем, что эти камни окружало, что было под ними.

Не будучи уверенным, что фотографии получатся, я, тем не менее, принялся снимать дочь на планшет и два смартфона. Большого настроения позировать у нее не было, но я все же запечатлел ее на фоне осколков древней цивилизации.

У дочери была прическа, как у Вивьен Ли в фильме «Унесенные ветром», и она улыбалась мне, как Вивьен Ли Кларку Гейблу. Заслуживал ли я, сумасшедший папашка, такой улыбки?

Кинематограф был для нее той же школой, что и для меня. Как и я, она могла смотреть один и тот же фильм столько раз, сколько потребуется, чтобы стать полноценной участницей происходящих на экране событий. Отдаленность их во времени не смущала ее так же, как и меня когда-то. Интересно, чувствует ли она сейчас то же, что и я, среди этих камней? Я спросил ее об этом.

– Папа, мне надоели твои развалины! Мы только их везде и смотрим. В Израиле, в Турции, в Греции, в Тунисе – тоже... Папа, что ты ищешь среди этих камней?

Я молчал...

Хотел сказать, что, возможно, ищу себя, но подумал, что все-таки не смогу ей этого объяснить.

И тут вдруг она совсем как взрослая, с материнскими интонациями:

– Жить надо нашим временем, настоящим... – подошла ко мне, почти вырвала из моих рук планшет. – Иди туда, я тебя сфоткаю...

– Только не на фоне публичного дома...

– Я понимаю... Может, тогда на фоне президентского дворца?

– Нет, на фоне президентского дворца тоже не стоит.

Она поставила меня так, чтобы самая высокая колонна и развалины были видны за моей спиной, и сфотографировала. Показала мне.

Сквозь щелки прикрытых глаз на меня глядел какой-то многосоставной персонаж из сирийских рассказов, наполовину европеец, наполовину азиат, господин с кучей прививок от всего возможного и невозможного, закоренелый борец с гордыней и меланхолией. Кто кого в итоге свалит – на фотографии было не разобрать.

– Это ты, – сказала дочь.

– Да я уж понял, – ответил я, принимая из ее рук планшет.

Она убежала к матери, звавшей нас посмотреть на отмененную временем вертикаль – трехчастный кусок мраморной колонны, лежавший на земле.

Возможно, дочь права. Очень может быть, что права. Вся моя жизнь, погоня за символами-знаками, за сутью вещей, наконец за истиной – все чушь, если я пропустил главное – саму жизнь, если так и не научился радоваться каждому дарованному мне свыше дню. И если бы это обстоятельство не касалось меня лично, не было бы так близко от края моего существования, я бы объехал этот предсказуемый и банальный вывод с закрытыми глазами, как объезжал сотни таких выводов. Обидно, коли так, ведь для того, чтобы перестроиться, начать жить наново, без помарок, тоже нужны время и силы.

Я с надеждой посмотрел вдаль – приплыло ли то торговое судно из Тира, где могло оно причалить? Возможных мест много было, вот только прошлое оставалось прошлым, настоящее – настоящим, а Карфаген – тем, что от него осталось.

Ом, дорогая мама, Ом!..

По узенькой прохладной и пахучей тропке, обсаженной по краям дикими масличными деревцами, мы вышли к Национальному музею Карфагена.

Жестом легата времен золотого Голливуда гид останавливает нас у раскопок поздних культурных слоев, у расколотого черного портика.

Словно не замечая, что мы стоим под палящими лучами солнца, он предлагает нам сорвать с деревьев или поднять с земли по маслине.

Дочь сорвала три маслины. Протянула сначала жене, потом мне.

– Потрите хорошенько в ладонях, чтобы сок вышел. – Гид перестал коверкать русский язык, но мой дублер никак не отреагировал на это. – Подставьте их светилу. (Он так и сказал – «светилу», хорошо еще, что не «ярилу».) Подержите некоторое время ладонями вверх. Вот так вот, – показал, как именно. – После чего поднесите к лицу, своему, а не соседа, – шутник, подыгрывающий низкому интеллектуальному уровню туристических групп? – и прислушайтесь внимательно к запаху. У каждого свой, правда?..

Группа восторженно согласилась с ним.

– И в то же время это запах земли и солнца. Этой земли и этого солнца. Я бы хотел, чтобы вы запомнили его. Вам пригодится.

– Зачем? – спросил мой дублер поперек меня.

– Узнаете позже, – сказал он так, будто объявил следующую остановку в московском метро.

Все напряглись.

Интересно, еще кто-нибудь заметил, что гид тренькает так, словно все лихие 90-е прокуковал в российских котельных, деля вахты с голодной интеллигенцией и чуткими к утечке газа кошками.

Насладившись всеобщим замешательством, он, переходя на фальцет, воскликнул:

– Ну, а теперь айда в музей!

«Айда?!..» Значит, и Вознесенского читал, чмурик?!

Табличка на тоненькой металлической ножке оповестила нас на нескольких языках – в том числе и на русском, – что мозаики и статуи, саркофаги и фрагменты архитектуры будут иллюстрировать доисторический, карфагенский, римский, христианский и исламский периоды.

В первую очередь меня, конечно, интересовали доисторический и карфагенский. Артефакты, подтверждающие существование Элиссы, старшей сестры тирского царя Пигмалиона, по преданиям основательницы Карфагена, союз с этрусками, открытие Америки задолго до Колумба; ну и, конечно, монеты с конской головой и знаменитая статуэтка богини Тиннит, один из символов финикийской цивилизации.

– Как я говорил, – наш гид поморщился и снова перешел на берберский русский, – быть в религии Карфаген жуткий особенностью – жертвоприношение детей-первенцев. В плохой годы это считалось верный способ вернуть милость богов. – И вновь два глоточка ионизированного русского: – При раскопках 1921 года археологами было обнаружено несколько рядов урн, наполненных обугленными останками детей. На стелах, под которыми располагалось захоронение, – он нарисовал нечто кружевное пальцем над головой, чуть не смахнув в порыве вдохновения свою шляпу, – были высечены просьбы, сопровождавшие ту или иную церемонию жертвоприношения.

Гид указал нам на центральный вход в музей, возле которого мы топтались по его милости на солнцепеке, как если бы его указательный палец и рука были отчеканены на сверкающей, совершенно новой, но при этом древней монете.

Несмотря на то, что в музее вобще шла реконструкция и не все залы были доступны посетителям, меня вновь не покидало чувство, что и здесь я уже бывал, даже в тех залах, в которые нас не пускали. (Может, в Сети?) Вместе с тем я также чувствовал, что уже через год не вспомню ни одну мозаику, ни один бюст, ни одну фреску, чтобы это «здесь бывал» в полном объеме перешло от меня к другому искателю. Интересно все-таки, как в памяти нашей выстраивается будущее, к которому мы так стремимся и которого не замечаем, едва оно оседает в нас после очередного жертвоприношения.

Римский период был представлен обширнее, значительней доисторического и карфагенского. И дело даже не в том, что это были более поздние культурные слои. Просто в отличие от своих недаленовидных предков эти люди лучше понимали, что они лишь гости в брэнном мире, что каждый отпущенный свыше день тут, в провинции у моря, – сначала им самим и уже после – метрополии и потомкам. Ну, а коли так, разве можно уйти от соблазна сделать свое житье-бытье настолько комфортным и улыбочиво-светоносным, насколько это возможно, а за комфорт и удовлетворенность жизнью, ясное дело, расплачиваются не только монетой и расстройством желудка.

Плутарх писал, что карфагеняне не знали радостей жизни, были неблагодарны и чрезмерно грубо с ней обходились, зато римляне знали их хорошо и обходились ласково. И благодаря этому их знанию, свойства, определившие путь империи, а в дальнейшем и всего человечества, оказываются распознанными посетителями музеев.

– Они были людьми солярными. И, может статься, от их ладоней исходил тот же запах, что и от ваших, хотя дело тут не только в здешних маслинах, – включился гид.

А я о другом подумал сейчас – о матрицах, в которые мы заключены волею судеб, о том, что, по сути своей, набор их неизменен с зарождения человечества, что подвижность той или иной матрицы зависит от сотрясений эфира и гибкости отражающих мир понятий. И музеи – не столько хранители этих самых понятий, сколько оценщики их гибкости.

С каким удовольствием воспользовались бы гибкие «солярные» человечки нашими социальными сетями. Как украшали бы свои посты всеми этими черепахами, тушканчиками, веселыми дельфинами, окруженными стайками суетливых рыб, пожухлым садиком за окном (практически – «садок вишневый коло хаты») – всем, что было для них вовремя скрепленным с богами договором и просто удачным стечением обстоятельств.

«Тит Лукреций привет тебе шлет...»

Кому? Опять Постуму, что ли? Может, Плинию Младшему? Да нет. Вот хотя бы той густогривой, ляжистой патрицианке с «низкой посадкой», уверенной, что половой акт всегда предпочтительнее воздержания, а рождение – лишь конец коитуса. Если она чего-то боится, вместе со своим гипотетическим Титом, который к тому же еще и Лукреций, так это только всеобъемлющих замещений непонятного ей нового бога, пришедшего с еврейского Востока, и потери своего статуса. Явления содеянного мало заботят ее в это конкретное мгновение, да и вообще. Так и чувствуется напряжение плоти, на какое место ни взгляни, так и слышится крепкий запах источаемых ею эссенций. Вполне бы могла составить компашку «любительницам наргиле» и многому их научить. Вот еще одна местная аутисточка с бесприютными грустными глазами, какие бывают у тех, кто в совершенстве освоил науку прилюдного уединения. Между прочим, неплохо бы смотрелась в московской «Шоколаднице», посади я ей отсюда солнцезащитные очки на нос или утверди на покато лбу. А вот матрона – «ах!» – эпохи императора Августа и вправду хороша, чертовка, очки ей ни к чему, покладиста и улыбается так, словно хочет, чтобы я запомнил эту ее улыбку, «порожденную созерцанием собственного счастья», и выраженье ланьих глаз. Она из прошлого или из будущего? (Какая разница – Овидий уже пишет продолжение легенды и публикует на сайте нашего журнала. Евреи в восторге, даже харедим рукоплещут.) А вот дружок ее по столетию, по белой стеночке сосед, многовековой выдержки хам, писавший наветы на Апулея, мало того что клеветник, еще и клинический идиот, которому не в помощь ни прекрасное образование, ни ворожба, ни лечебное зелье, ни превращенный в осла рассказчик. (Подобного рода клеветничество и доносительство у нас в большой чести. Тит подтвердит. Правда, Тит? Заказчиков – хоть отбавляй, исполнителей тоже.) Вот раб – дурак почетный, увитый кудельками мизантроп, полезный лишь затем, что хозяин его любит выставить напоказ себя и свою дражайшую с душою, сокрытой в ямочке на розовой щечке. А до этого уголка суденышко дотянуло из времени, где «нынче ветрено и волны с перехлестом». Надпись деликатная под волнами, должно быть, о том, о чем Бог забыл и вспомнит с рассветом. Не стоит вдаваться в подробности: то птичье обещание на полях.

А вдруг я ошибаюсь, вдруг там написано что-то важное, к примеру:

«Никто не возвращается из путешествий таким, каким был раньше»...

Можно, конечно, спросить музейного работника, пожилую сердобольную жрицу Кибелы в тусклых жемчугах, прикорнувшую с газеткой в руке вместо веера под бухим Бахусом, но разве я не знаю, что все ответы во мне.

Задержавшись на лестничном марше подле большой мраморной головы дочери Марка Аврелия, своенравный подбородок которой исследовал мультяшный паучок, и отсняв дочь самого уважаемого мною императора на два смартфона, я поднялся в зал на второй этаж.

За экспонировавшимися драгоценностями я увидел его.

Вернее, сначала у меня были некоторые сомнения, что это он.

Персонаж из «Тысяча и одной ночи», магрибский дядюшка из «Волшебной лампы Алладина»... В черном облачении до пят. «Кино, кино!..» – как говаривали мы когда-то в юности. Никаких усов «а ля» Гурджиев. Загар на лице явно не пляжно-волейбольный, а с тем розовато-красным оттенком, какой получается только на участках дачного товарищества километрах в ста от Москвы.

Он поглядывал по сторонам. Ему важно было знать, какое впечатление он производит на окружающих. Драгоценности мало интересовали его. Арабскую сказку он, похоже, знал наизусть и начать мог с любого места. Об этом говорили его глаза. Обычно саньясинов я узнаю по глазам. Но это не были глаза проводника в иные миры. Впрочем, сильные мастера-саньясины предпочитают пользоваться десятком глаз, они меняют их цвет и глубину, да что там глаза, у них десятки имен, из которых ни одно не есть подлинное, с которым прощается он, покидая сей мир. Это позволяет учителям оставаться как бы безымянными: «Мудрый не оставляет следов на земле, мудрый незаметен, как ямка в скале». К тому же они не знают, что такое постоянное место жительства. Мехти-ага говорил: «Если вы встретите меня в Баку, Москве или Пекине, неважно, где, это еще не значит, что вы видите именно меня». Если так, почему невозможно обратное – я вижу не его, а это он? Что с того, что у него загар финно-угорский, а глаза – американца-миллионера, прикинувшегoся «волшебником из Магриба»? Он это, он!.. После того, как Мехти-ага покинул наш мир, он, наверное, еще не такому там научился.

Вставши на место, где только что рассматривал ювелирку пунических времен фальшивый магрибчанин, скрывшийся в другом зале, как за Геркулесовыми столбами, я прочел (или мне показалось, что прочел) на стекле поверх своего отражения и отражения жены и дочери оставленное мне – в том не было сомнений – сообщение: «Все так переплетено, что иногда не кинематограф следует за жизнью, а жизнь за ним. И потом, всегда лучше попробовать горячее, чем холодное».

Я оглянулся по сторонам в поисках автора послания и стрекочущей камеры, чтобы убедиться, я ли в их прицеле, со мною ли одним играют они в «вечную вечность»? Насколько размыты границы между реальностью и кино, насколько условно мое «здесь и сейчас»?

Автор отсутствовал, а вместо предполагаемой камеры – фрески...

Это они «затягивали меня в вечность» и не давали ходу привычному «новому», искали какой-то давний случай из моей жизни, который то ли вызвал роковой обвал судьбы, то ли может вызвать в любую минуту. И тогда место мне обеспечено на любой фреске: «Ура, поймали, ты будешь тут, и ты будешь Титом Лукрецием!», и сколько им ни говори после, что ты всего лишь «йскмлкннн», кому это интересно. Ты в вечности, дружок, у вечности другие имена, другие измерения, спроси у магрибчанина, этот лис подтвердит.

Магрибчанина сопровождала какая-то блеклая малоинтересная особа с большим голодным ртом и рахитичными, лишенными икр ногами, вспомнил я. Судя по тому, как она была одета, – тоже американка, и говорила она на американском английском, с широким ходом челюстей, подыгрывая своему другу-муслиму и лишь слегка нарушая пределы, установленные его маскарадным облачением. Передвигались они по залам свободно и расслабленно, словно после брачных танцев, не были привязаны ни к одной из туристических групп. Похоже, подумал я, мои шансы настигнуть их невелики.

Я оказался прав, парочки след простыл. Ни в христианском, ни в исламском периоде я их не обнаружил. Теперь разве что в гостях у Варрона или Квинтилиана.

Интересно, то, что я должен был, по словам гида, узнать позже, я уже узнал или мне еще предстоит? Здесь? В Сиде или в Тунисе?

Раздосадованный, я отыскал своих, и мы пошли к автобусу, делясь впечатлениями от музея.

– Куда ты пропал? Мы тебя искали...

– Фрески!..

– Да, тут замечательные фрески! – поддержала меня жена.

– Их копии по всему Тунису. Помните, сколько их было на рынке в Суссе?! – согласилась с нами дочь.

– А вы не заметили среди туристов араба в черном облачении, похож на магрибского дядюшку из «Волшебной лампы Алладина»?

– Дай папе воды. Смотри, как он вспотел... Заметили...

– Да он же фрик, этот магрибский дядюшка, и тетка его – фрикекса чересчурная... – дочь протянула мне пластиковую бутылочку, на дне которой оставалось еще немного теплой воды.

...В XII веке исламский проповедник из Туниса Абу Саид ибн Халеф ибн Яхъя Эттамини аль-Беджи основал рибат на пологой возвышенности с видом на мыс Карфаген, чтобы учить молодых искателей суфизму. После смерти мастер был похоронен своими учениками на той самой возвышенности, а образовавшееся у стен рибата поселение назвали в его честь – Сиди-бу-Саидом.

Сиди-бу-Саид, или просто Сид, – городок голубей, влюбленных и бесчисленных дверей, уступка массовому кинематографу и журналу «Эль». Ролану Барту очень бы подошел этот городок для его «Мифологий»: «Хотите Востока? Настроим оптику, сменим актерский состав, запустим целлулоидных красных рыб в бассейн, раскурим медленно все имеющиеся в реквизите кальяны и побрызгаем местные ковры девятой «Шанелью». Билетеры, на выход, можно запускать зрителей».

Да, это уже не Восток Жерара де Нерваля, хотя слова «муфтий» и «эмир» все еще залетают в открытые окна далеким воспоминанием. Иногда... В особо лунные ночи.

Брусчатка, узкие улочки. Игра теней и белоснежных стен зданий с пронзительно сине-голубыми оконными наличниками, ставнями и фигурными решетками. (Гид говорит, что тени от решеток в полдень создают на стенах причудливые узоры, а на вершине холма находится действующий маяк.) Этот странный человек, одинаково свободно владеющий двумя русскими языками и пользующийся ими, как фокусник, наверное, ведет дневник, в котором скрупулезно записывает все события. Я давно заметил, люди, ведущие дневник, отличаются от тех, кто его не ведет: им кажется, что у них будет возможность лучше понять на переходе в вечность, из чего состояла на самом деле их жизнь.

Крутые подъемы по узеньким мощеным улицам сопровождаются салютом бугенвиллей, а киноварные гибискусы на фоне небесной лазури напоминают разлетевшиеся во все стороны брызги крови. Жертвенной крови, конечно. Сразу же хочется, смирившись со своей судьбой и судьбой всего человечества, всем все простить, испить правильного кофею и выкурить крепкую французскую сигарету. Представить себе короткую, ни к чему не обязывающую связь с пышнотелой восточной женщиной, которая в данную минуту кажется пожароопасней интенсивно загоревшей поджарой европейки, главным образом, потому, что у восточной женщины все срочные дела бессрочны. «И потом, всегда лучше попробовать горячее, чем холодное».

Про то, чтобы запастись водою, я как-то позабыл, и мы сразу же направились в кафе «Де Натт» на главной площади Сиди-бу-Саида.

Двери кафе сторожил коричневый араб с таким же коричневым коршуном на изогнутом посохе. Оба были готовы взвесить душу первого встречного незамедлительно. Посох коршуну не шел так же, как арабу коршун. Птице на посохе сиделось, как на собственных поминках, а араб никак не походил на ослепшего от всеведения старца. Лицо его, словно выглядывавшее из окна, было гладко отполированным, на губах лежала легкая тень полуулыбки, ноздри вывернуты, широко разведенные за-

стывшие глаза как бы безразличны ко всему, что внизу и вровень, а голубая рубашка навыпуск будто прилетела из загробной жизни, на перекрестках которой тоже не прочь были отдать внетелесное должное стилю «богема».

Перья птицы трепетали от дуновения ветра, неподвижный с выбеленкой глаз демонстрировал силу магнетизма. Было совершенно непонятно, что из происходящего вокруг коршун видит и что отмечает про себя на будущее, так как создавалось впечатление, что птица живет только в профиль и оценивать обстановку сразу двумя глазами, в которых одна людская черета сменяется другой, не умеет с рождения. Но при всем том человек и птица казались единым целым, татуировкой на тренированном плече кулачного бойца или эпилогом ко всем отложенным за сорок один век историям.

Туристы мимо этой застывшей пары шествовали с опаской и почтением. Ни у кого не возникало желания дотронуться до «замри»-птицы, чтобы проверить, жива ли она, никто не думал фотографироваться с нею на долгую память.

Мы нырнули в темную каменную прохладу.

Духовитый воздух, точно из кусочков сшитый, отдает углем, специями и еще чем-то неуловимым, навевающим ту грусть, которая вечно сопутствует человеку после соития.

Гид, не отходивший от нас, сказал, что этой чайной более трехсот лет, что в начале XX века тут собиралась местная и залетная богема, а немецкий импрессионист Август Маке запечатлел кафе и минарет за ним в картине «Вид на мечеть».

Стены чайной украшали фотографии улыбающихся знаменитостей в разноцветных рамках. Знаменитостей уже слегка поджаренных и в меру присыпанных солью и перцем, словом, готовых к употреблению. Их хорошо запивать белым вином. Оно лучше покрывает невозможность смешаться со здешней обстановкой.

– Тут били много кинематографисты, – гид уселся по-турецки на циновку, как это делал когда-то Бей, показал своей милитаристской панамой, чтобы и мы последовали его примеру. – Этот кафе снимали в «Анжелика и султан»... – Размотал шарф, положил аккуратно в шляпу, затем и то, и другое – себе под пуп. – «Анжелику» много снимали в Сиде... Но потом много резали в фильме... Потом... – добавил он зачем-то. – Все это будет уже потом....

Жена и дочь принялись подтрунивать надо мною, мол, как жалко, такая женщина, мечта восточного мужчины и все такое.

Я хотел сказать жене, что вообще-то не всякий восточный мужчина рискнул бы нарезать круги с такой женщиной, как Жослин Ивонн Рене Мерсье, правда, тут же осекся, вспомнив о Робере Оссейне, к которому относился как к дальнему родственнику.

Я уже говорил, что в городе, в котором родился, и в районе, в котором вырос, к кинематографу было особое отношение. Да и сам я обязан дате своего появления на свет исключительно фильму «Адские водители» Сая Энфилда. Папа потащил беременную мною маму на этот фильм, вот она и не выдержала, пришлось после фильма вызывать «скорую».

Уж не знаю, каких масштабов должна была случиться драма, чтобы мы с ребятами не пошли на новую фильму в субботу и в воскресенье.

Мы сэкономили на школьных завтраках, выматывали душу родителям. Дни у нас проходили в ритме утренних, дневных и вечерних сеансов. Расстояние мерили – от дома до кинотеатра или от школы до кинотеатра. Что бы мы ни делали, мы делали это так, словно нас снимали на пленку великие режиссеры. Мы учились жить у экранного полотна. Драться, любить, дружить и даже угонять автомобили... Мы вписывали себя в тот или иной сюжет, как в судьбу, и, когда оказывалось, что реальность ломает нас, в пику своим предкам и классным руководителям ждали подсказок от Трюффо, Феллини, Годара...

На излете туманной юности до нас начало доходить, что фильмы все-таки снимаются не без помощи сценаристов и операторов, чьи имена мы всегда пропускали в титрах. Наше повзросление началось прямо вслед этому обстоятельству. И все было бы хорошо, и я бы не отстал от других, если бы наискосок от нашего дома, напротив булочной, в которую я ходил ежедневно за хлебом насущным, не жила девушка, очень похожая на Анжелику. Мне как-то невдомек было, что маркизы и ангелы не водятся ни в ее доме, ни в нашем районе, ни вообще в нашем городе. Тут-то все и началось. И по сей день длится. Я даже помню, где осталась мой первый сценарий и где его источник. Не знаю только, куда подевался диск с Анжеликиной эпопеей, который жена и дочь не так давно подарили мне в шутку. Две серии я честно посмотрел, отдавая дань юности, но на последующие, с восточными дворцами, гаремами и brutальными евнухами, сил уже не было – всему свое время, впрочем, не уверен, что и в юности я посмотрел бы их от начала до конца. Нас как-то быстро переселили из больших кинотеатров в маленькие клубы, из массового кино в «кино не для всех». Конечно, в том немалая заслуга времени. Но что бы там ни было, так близко к своему источнику я еще не подбирался. И, может, не случайно, когда нам принесли зеленый чай с кедровыми орешками, припомнилось одно из любимых положений Бея: «Ты не можешь отменить прошлое, но ты можешь его не повторять».

Я с тоской вспомнил нашу саньясу, подумал, что это детище Бея, вне всякого сомнения, заслужило полуторачасовой кинохроники. Но, увы, не отснять его уже, оно осталось навсегда в том убедительно безысходном времени, в котором ты безнадежно молод и чувствуешь себя значительной частью всего, что происходит. Это время никогда не умрет, но и никогда не повторится, потому что это даже не вопрос твоего прошлого. Пока мы живы, в нашей жизни абсолютно все не имеет срока давности, течет в общем потоке. При этом у каждого из нас свой Карфаген. Вот о чем никогда нельзя забывать ни на пирах, ни на поминках. Скорее всего, это вопрос наших выплат в поставленные нам сроки или отказа от оных. Сенатор Катон хорошо понимал подобно свойство вещи, когда вез морем маслины из Карфагена в Рим.

Только успел подумать, что мы часто строим новую жизнь на пепелище старой, что, стерев некоторые изжившие себя убеждения и восприняв новые, мы можем в корне изменить ситуацию, как мой телефон оповестил меня о том, что пришло письмо. От Доминика Дагера. Пунктуальный товарищ оказался этот Дагер.

В кафе был вай-фай, я незамедлительно принял два файла – один в ворде, другой в джипеге – поблагодарил Доминика и взглянул мельком на ответы.

Отвечал он вполне здраво, нацистских убеждений не выказывал практически никак, должно быть, понимал, что аудитория нашего журнала сплошь еврейская. Использование современными россиянами слова «погром» считал «манифестацией приверженности европейским ценностям» и полагал, что в России оно служит, помимо всего прочего, еще и предупреждением об опасности, «которую таит игнорирование политической воли 80% населения страны. Считаю, что наличие еврейских погромов в русской истории является признаком европейскости нашего общества, его встроенности в западную цивилизацию». Вот так вот!.. Дальше Дагер разбирался с понятиями «фашизм» и «национализм»: «Фашизм – одно из проявлений национализма. Всякий фашист – националист, но не всякого националиста можно маркировать как фашиста».

В джипеге оказалась фотография Дагера. Прислав ее мне, он немало облегчил жизнь нашему худреду и штатному фотографу. Если бы не черная кожаная куртка, в которую он был закован, черная эспаньолка и бодрая руническая свастика на помятой бабьей груди – вылитый настройщик роялей советских времен. Впрочем, внешность обманчива. У Бея был «джазовый» ученик, похожий на Пьера Ришара, так тот мог двумя пальцами пробить брюшину. Бей выгнал его из-за какого-то неведомого нам проступка, причиной которого, как говаривали, стали неразделенные чувства к



одной нашей девочке-саньясинке. Она сейчас уже бабушка, преподает Кундалини-йогу в Бостоне, там же лечит и тех, кто покалечился йогой в многочисленных фитнес-клубах. В уютюбе можно обнаружить целые кусты ее благоухающих «Ом-м».

Поглощенный мыслями о будущем России и воспоминаниями о нашей бакинской саньясе, я не заметил, как мы вышли из кафе на главную улицу и оказались возле ворот резиденции муфтия Аннаби, которая числилась в проспектах еще и музеем быта Туниса.

В одной половине ворот была вырезана дверь с двумя железными кольцами, расположенными на разной высоте.

– Вот это есть для детей, очень полезно, – гид на полусогнутых постучал нижним кольцом в дверь.

Вышло живенько так.

Ждет, прислушивается, снова стучит:

– Открой, мама, это я, Сулейман твой пришел... А? Что?

Прячется за полуоткрытой половиной ворот, смотрит в щелку и оттуда уже сонным голосом «мамы»:

– Сулейман, сыночек, это ты? А что так поздно?

Через мгновение припозднившийся Сулейман оказывается на улице и снова на полусогнутых. Я жду от него исповедальной филиппики, но он краток предельно:

– А я, мама, Млечный Путь изучал, – астроном-вундеркинд выпрямляется и выдает руладу: – Обратите внимание на порог. Видите, какой высокий? Это специально...

Для наглядности перешагивает через порог несколько раз туда и обратно: как сосед из дома напротив – сварливый старец, страдающий мочекаменным заболеванием, как странствующий рыцарь веры иной и взглядов гиперборейских, как торговец в рахат-лукумной пылице, попавший сюда, дабы вырвать какие-то неведомые миру сокровища.

Убедительнее всего получился сосед из дома напротив. Две другие роли были им смазаны: сложилось впечатление, будто рыцарь и торговец, представители одной и той же страховой компании, провели вчерашний вечер с цыганским табором, и обоим цыганка нагадала у костра высокий порог в доме муфтия.

А в доме муфтия жизнь точна, как аптекарь.

Фонтан убивает время, и заливается горячими слезами клетка с желтыми пичужками. Распутные нравы Запада не проникают сюда. Слишком много стен, и закавыченная реальность царит без тех подробностей, которые обычно люди так любят прижимать к груди. Да и какие подробности могут быть, если море врывается в каждую комнату, если сложные лабиринты коридоров, крутые лестницы, маленькие закрытые и большие открытые балконы, внутренние дворики совершенно не пропускают время. Ни днем, ни ночью.

Здесь, похоже, все жили с остановившимися часами. Муфтий, муфтий, как же так? Кто остановил часовой механизм, не вы ли, любезный, забрали с собою ключик?

Я перехожу из комнаты в комнату, ищу библиотеку. Ищу, но не нахожу. Всегда во всех домах первым делом я ищу библиотеку и всегда нахожу. А тут...

Должна же быть у муфтия хоть одна книжная полка.

Я ищу библиотеку, но нелетаю на восковые фигуры в типичных для времен Анжелики нарядах за привычным времяпрепровождением.

Вот муфтий собственной персоной в роскошном белом облачении восседает за письменным столом. Представитель традиционного ислама являет собою само благородство, глядя на него, понимаешь, какие ценности в исламе непреходящи, а какие – для каналов CNN и BBC. Хоть муфтий и восковой, отвлекать его все равно нельзя, он над чем-то трудится сейчас, должно быть, над каким-нибудь новым толкованием

старого уложения.

Сниму-ка я его на свой айфон: пригодится... К тому же он очень напоминает одного моего израильского кора – Менахема Фрумкина из Герцлии, с которым я постоянно бодаюсь по поводу его текстов. (Точно Фрумкин. Бывает же такое. Просто удивительно, какие чудеса порою творит природа.)

А вот два господина играют в нарды, злоупотребляя кальяном. На доске только один камень, показывающий «шеш», второй, наверное, закатился туда, где зеркала не ловят отражений. Над дверным проемом два пистолета и инкрустированное берберское ружье. А вот и восточные женщины – в воске все так же аппетитны, особенно сзади – потягивают шербет и о чем-то немо сладкоголосят. О чем? Да наверняка о своем, о бабьем, к примеру, о том древнем свадебном платье, которое разложено рядом и весит около десяти килограммов. Не о времени же и пространстве этим ханумкам судачить?

Я представил себе среди них Анжелику. Но вместо нее шербет пила какая-то пожилая, ничего не слышавшая о «Стрекоте женщин», одутловатая дама, в которой с трудом угадывались знакомые черты маркизы. Время никого не щадит, даже восковые фигуры в доме, где все часы спят.

Интересно, а как выглядит сейчас та девушка – точная копия Анжелики, чей балкон выходил прямо на булочную? Продолжает ли она играть в бесконечном сериале, и как этот сериал сказывается на моей судьбе?

Хотел пойти вперед, но что-то остановило меня, толкнуло, развернуло, будто я еще не совсем был готов к смене декораций.

Как будто сквозь туман прорисовывались очертания библиотеки. Нет, не той, что открылась сейчас – с томами по религиозным, нравственным и правовым вопросам, с которыми сталкиваются мусульмане в обычной жизни, а другой, которая была за нею и о которой муфтий Аннаби мог слышать только от заезжих единоверцев.

Я уже видел потолки с позолоченной лепниной и росписями, старинные темные глобусы с не обнаруженными еще землями, тяжелую книгу на большом пюпитре, когда картинка неожиданно захлопнулась... Через какое-то время «кинолента» запустилась вновь. И снова стены, снова версты... Беснующийся календарь и дневальная трель телефонного будильника... День начался на каком-то из мостов и тут же оборвался, сон неотличим от яви, и люди говорят одним и тем же голосом одни и те же слова об одних и тех же вещах... «Закавыченная реальность без больших подробностей». Сколько воска на все это уходит ежедневно!.. Сколько лучших книг псу под хвост!..

Только спел я оду мостам, верстам и воску, только сказал себе: ну и хорошо, ну и ладно, – как вдруг увидел хорошенькую женщину на скамейке, строгую, сосредоточенную. Так это ж моя жена!

Лето. Июль. Яркие лучи солнца. Она держит на коленях, изучает какую-то карту, рассеченную на две половины рекой. Река и кофточка на жене одного цвета. Тень от лица жены покрывает правый нижний угол карты, на котором я успеваю прочесть – «Старо место» и чуть снизу и ниже – «Ново место». Послышались трамвайное треньканье и дребезг. Так мы же!.. Это ж Прага!.. («Ага, Прага, – пришло подтверждение от моего дублера. – У Праги есть когти, которыми она крепко держит за сердце и не позволяет уйти, а еще у Праги есть книги, и Прага самый фотогеничный город в мире».) И поплыли белесые облака над разновысокими черепичными крышами красного цвета, над мощеными улицами, над зелеными холмами Вышеграда, над отшлифованной солнцем скользкой Влтавой, приветствуя нас с женой, уютно устроившихся на крепостной стене обзорной площадки. Как удобно тут сидеть, на этой стене и, урча по-кото-котофейски, жмуриться от солнца, смотреть на город сверху и слушать жену, тихо рассказывающую мне о наводнении прошлого года, о том, как нагоняли их с дочерью непрерывные пражские ливни, стоило им покинуть

отель. «Я тебе покажу на Карловом мосту отметку, где вода была», – славит она пражские дожди. Я смотрю на небо, и не верится мне, что такое возможно – зонтики и люди, скачущие по лужам, бегущие под козырьки кафе и ресторанов – даже самолет где-то вдалеке и тот не верит. До чрезвычайности душно. Жарщички каштанов. Шатия легкомысленных французов с рюкзачками. Японочка с крашеными волосами и вишневыми косточками в руке. Карлов мост, реченка Чертовка, Староместская ратуша, площадь Иржи с Подебрада и церковь Святейшего Сердца Господнего... Приподнятый дух общности и согласия повсюду. Короче – «Невыносимая легкость бытия».

Снова меня занесло в «педальное» будущее. Зачем это все, к чему мне сейчас держать в голове то, что Моцарт в Праге был три раза, что останавливался он на Угольной площади в трактире «У трёх золотых львов»? К чему был этот вклинившийся просмотр библиотеки Страговского монастыря? Зачем показывать мне сейчас, в доме почтенного муфтия Аннаби (мир ему), как мы пьем по второй кружке пива в пивоварне «Страгов», к чему Жидовско место с еврейским кладбищем и синагогой, Парижская улица с дорогими магазинами и кафе «Кафка», и джаз бэнд, лабающий Брубeka на Прикопе?.. Вспомнил высказывание Феллини, которое вполне могло бы принадлежать и не меньшему «мастеру космоса», нашему Бeю: «Человечество движется вперед, потому что верит: то, куда оно идет, не задумываясь о последствиях, уже известно».

Если мне уже известно, если я уже знаю, что буду там, в этом городе «зла и красоты», что я должен понять и предпринять здесь и сейчас? Какие слова найти и сказать? Пока я думаю обо всем этом, за меня говорит гид. Этот чудак и раньше не умолкал, просто сейчас я его услышал.

– Вот здесь муфтий молился. – Он указывает на правый угол небольшой залы, выложенный плиткой с цветочным орнаментом. – Эта небольшая ниша в стене как компас – направляет вас на Мекку, на Каабу...

«Вас?!»

Я знаю, что должен сделать, и пока гид рассказывает, зачем нижнюю часть оконной решетки выносили подальше от окна: «Вы думаете, это есть для красоты? Сюда клали младенца, чтобы пока они спят, их со двора было хорошо видно...», в Африке ты, в Европе или Азии, значения не имеет.

Я жду, когда все перейдут в другую комнату, чтобы помолиться. Я знаю, что молиться нужно в чистоте, что чистота в исламе подразумевает чистое тело, одежду и само место молитвы. Дом муфтия Аннаби (мир ему), не мечеть, конечно, но место, можно сказать, намоленное. От пупка до колен я вроде как закрыт. Вот только дублер мой мне немного мешает, но ведь главное – чтобы я никому не мешал.

Все хорошо, но у меня нет коврика или чего-то из одежды, чтобы бросить на пол. Ну да ладно, я все равно стоя молюсь, да и постелено тут уже что-то, должно быть, я не первый, кто хочет помолиться в доме муфтия.

Снимаю туфли и вхожу в маленький, огороженный низеньким бордюром квадрат.

Все, что я знаю, это то, что Бог един, что он услышит тех, кто возносит Ему молитвы. Молитвы, а не причитания или попытки договориться. Я обращаюсь в сторону маленькой квадратной ниши, указывающей мне на Каабу...

Я уже научен: когда не знаешь, как молиться, молись, как сердце тебе велит. Пусть не пять и не пять тысяч раз, но один, я все же помолюсь, ведь у меня есть намерение, и оно идет от сердца.

Я произношу про себя два раза «Аллаху Акбар. Аллаху Акбар»... Нет, не так, как это делают лайф-нюсовские боевики-джихадисты, обмотанные до глаз арафатками, зло и мстительно потрясая автоматами Калашникова на грязных пикапах, а как говорили старики в нашем городе, как говорили бабушка и мама, как говорили Бей

(мир ему) и Шейх Ахмад Дидат (мир ему), и, возможно, сам Абу Саид ибн Халеф ибн Яхья Эттамини аль-Беджи (благословенно имя его, мир ему).

Только я удивился тому, что с первого раза запомнил полное имя проповедника – я уже сто лет не запоминаю номера телефонов, – как в памяти моей шевельнулся вечер того последнего августовского дня, когда я случайно обнаружил у мамы дома на Сходненской после первого джумаахшамы Коран на русском языке в переводе Крачковского. Коран как Коран. Темно-зеленого цвета. Такого цвета у нас еще Диккенс полный на полке стоял. Выпущен издательством «Язычы» за год до краха Софьи Власьевны. Тиража не припомню, а вот цена смешной показалась – пятнадцать рублей. Но это отсюда, из другого века и тысячелетия, пятнадцать рублей мне смешными кажутся, а тогда это деньги были, и для мамы еще какие. В Коране я нашел несколько сложенных вчетверо листочков с молитвами, перепечатанными на машинке и написанными мамой от руки. (Сколько писем за свою жизнь я получил, написанных этим красивым округлым почерком, сколько поздравительных открыток?!) Там суры были, названия только двух из них не выветрились из моей головы – «Тэшхуд» и «Саламлар». Помню, как помолился тогда у мамы на Сходненской, и хоть совершенно не был уверен, что молюсь в правильном направлении – попробуй разберись-ка в московских квартирах, где Север, где Запад и где Восток с Югом, – какое-то светлое чувство обрел. Может, мне и сейчас повезет, кто знает? «Ас Салам Алейкум ва Рахматуллахи ва Баракатуху». Справа находится ангел, ведущий учет всех хороших поступков. «Ас Салам Алейкум ва Рахматуллахи ва Баракатуху». Слева находится ангел, записывающий дурные поступки. «Бог мой единый и всеблагий, направь меня на Путь истинный, на Путь прямой. Хвала Тебе, Всевышний. И пусть не будет от меня лишних слов, когда я взываю к Тебе, потому что Ты знаешь все, что у меня на сердце».

Благостное состояние после молитвы поначалу неощутимо, должно пройти немало времени, от пятнадцати минут до получаса, чтобы почувствовать его. Передать словами, как молитва начинает оказывать на тебя благотворное воздействие, тяжело, практически невозможно. Бей это состояние называл «заточкой своего **Я**», ну, а я его называю – «возвращением к себе». Если ты правильно помолился, прошлое с настоящим связываются легко, без какого-либо особого насилия над собой, а дорога в будущее выпрямляется сама. Ты видишь, как легко можешь осуществить то, что ранее казалось тебе неосуществимым по множеству причин, достаточно лишь принять мир таким, какой он есть, и себя в нем, какой ты есть. Даже если одно из твоих имен «йсмлкннн», а день рождения твой связан с кинофильмом «Адские водители». Длится это состояние, если его не поддерживать следующей молитвой, ровно семь дней, но может исчезнуть раньше, причем до обидного легко, ведь ничто так не ускоряет события, как совершаемые нами грехи.

В Сиде это состояние ускользнуло от меня, едва я начал ловить его в себе. Как-то больно быстро все закрутилось-завертелось. Сразу после дома муфтия гид направил нас в торговые ряды, не очень шумные и небольшие, располагавшиеся на пути к стоянке туристических автобусов, взятой в полукруг шелестящими пальмами. Мне понравился рюкзак из верблюжьей кожи с двумя большими накладными карманами на металлических застежках, не устраивала цена, а торговаться с мальчишкой-продавцом, очень похожим на меня в шестом-седьмом классе, времени не было. Мы купили несколько корочек рахат-лукума, рассчитывая, что он не будет хуже турецкого и мы довезем его до Москвы, не превратив в один большой пельмень. Впрочем, какое-то чувство защищенности я все же внутри себя уловил, подметил: дышать стало заметно легче, перед глазами словно бы кто-то запотевшее стекло протер, а морской запах так свободно залетал в ноздри, как если бы я, бросив курить, вернул себе обоняние тридцатилетней давности. Бей вообще послемолитвенное чувство самого себя называл «вздохом», а последующие семь дней «выдохом», поэтому

настоятельно рекомендовал нам не только правильно дышать, обращая внимание на все «замки», но и молиться регулярно: «Ваши искания без молитвы – все равно, что разрисованный картон, в котором фотографии проделывают отверстия для лиц, страдающих дурновкусием. Если вы мусульманин, идите в мечеть, если иудей – в синагогу, христианин – в церковь, только не дышите порченным воздухом в закутке. Искатель – это человек, уцелевший в страшной битве. Настоящие искатели смрадом не дышат, они понимают: учителей много, Бог – один». Бей умел сказать так, чтобы его слова зацепили и запомнились надолго. Уверен, не я один их вспоминаю, все ученики, даже те, кто не выдержал испытания. Когда он высказывался по поводу кого-то или чего-то, то походил на человека, который два тысячелетия назад покинул отчий дом да позабыл вернуться. Думаю, он, как никто другой, понимал, что нет ничего утомительнее человека, которому кажется, что он знает абсолютно все, и который в данную минуту находится напротив тебя, в этом весь секрет его общения... Бей никогда не отличался особой словоохотливостью. Он отлично знал, что память – инструмент, регулярно сталкивающий нас с тем, чего не было на самом деле, а значит, всему придающий форму. На каком бы языке он ни говорил – всегда с ленцой, всегда с некоторой небрежностью. Чего стоят его самые небрежные, полетевшие вслед уже холодному окурку слова: «Маленькая уступка здесь, маленькая уступка там – и утрачена личность, раз – и словно не было ее». О, как хорошо я его теперь понимаю, я, сделавший самому себе, в своей семье, в своем журнале столько уступок за последние три года, сколько не делал за всю свою жизнь. Но с другой стороны, не сделай я этих уступок, сохранил бы я остатки того Карфагена, ради которого живу? Может быть, ответ на этот вопрос я и ищу на развалинах древних городов. Это и есть мое «кроме того», позаимствованное у Катона. Оцени мою честность, мастер. Подай хотя бы какой-то знак, что ли.

Я не знаю, можно ли считать это знаком с другого берега, скорее всего, я просто сам ответил на свой же вопрос: «Ты должен научиться не просто сопротивляться обстоятельствам, но проходить сквозь них, ты делал это в кино много раз, сделаешь и в жизни».

...Автобус буквально вползал в Тунис. Пробки тут у них, конечно, не московские, но местами мы точно стоим дольше, чем едем.

А город шумит что-то свое – асфальтово-бетонно-пальмовое. Вечное, нежное, легкое.

Подувядший заметно гид курлычет нам в потрескивающий микрофон о здешней достопримечательности – какой-то там четырехгранной башне. Как я понял, это сооружение – местный «Биг-Бен», маяк для тунисцев, в особенности для молодых, не обремененных брачными узами. Гид уверяет нас, что башня, расположенная на авеню Хабиба Бургибы, чуть ли не шедевр современной архитектуры, а площадь – центральное место в Тунисе.

– Центрее не бывает, – съязвила дочь.

У нее сейчас возраст такой, она все стремится загнать под плинтус.

Свой рассказ гид раскрашивает убедительными примерами из личной жизни и жизни дальних и ближних знакомцев.

– В каждом городе есть места, в которых хочется побыть одному, но есть места... – он взял паузу, по-видимому, прикидывал, на каком из русских языков ему удобнее дальше говорить. – Есть места, на которые спешить попасть, устав от одиночества. – Снова остановился, задумался. – Но как бы там ни было, ви никогда не пожалееете, что оказались на этом месте, потому что здесь, именно здесь, ви себя чувствовать настоящим тунисцем. Получать всячески забота от муниципалитета, получать разрешение заглядывать через плечо товарища Гименя.

Наша братия тоже порядком подустала. Никто его уже не слушает, все припали к стеклам, тихо и как-то по-домашнему переговариваются друг с другом. В от-

местку «речистый наш» постукивает микрофоном по коленке – звук неприятный получается, как если бы кто-то высасывал соломинкой последнюю каплю сока в упаковке, – и все продолжает славить башню. Просто какой-то неиссякаемый поток во славу этого сооружения.

Неужели он ничего не слышал о Соединенном Королевстве, Холмсе и Ватсоне, леди Ди? Такое чувство, будто гид намеренно выдает желаемое за действительное, тем самым показывая, что, только разбираясь с прошлым, он – историк, человек мира, трансгуманист по срочному вызову, в настоящем же – истинный тунисец и не более того. Но я почему-то не верю в то, что он только тунисец и все, мне кажется, наш гид в первую очередь – «*homoludens*», человек играющий, вернее, кем-то вовлеченный в игру. Вот только кем и во что: в «далеко и близко», в «холодно и тепло»? Каков установленный порядок игры, и какое отношение она имеет к этой башне и ко мне?

Нет, пока я сам воочию не увижу этот местный «Биг-Бен», сооруженный, по словам гида, в честь Дня Преобразования, не пойму, зачем эта чертова конструкция с часами так понадобилась тунисцам. Не хочу знать ничего наперед, даже в тех редких случаях, когда знание идет ко мне само. Для меня всего лучше постигать будущее без предварительного с ним знакомства. Города и веси не исключение. Не в том дело, что я норовлю все к худу склонить, но, право же, какой прок, если развалины Карфагена прежде предстанут передо мной в Москве на страницах фейсбучной ленты или я вычитаю о них в Живом Журнале? Осевшая в тебе информация, тщательно проработанный на домашнем диване план путешествия далеко не всегда облегчают жизнь в дороге, а вот остроту восприятия притупляют. Я это заметил по многим нашим вояжам.

– Тут все назначать друг другу встречи, и тут все встречаться без договоренности.

Жена мне:

– Ты то же самое говорил о Торговой улице в Баку...

– Говорил... Только это когда было.

– И мы тоже сойдем возле «Биг-Бена», окунуться в кипучую жизнь города и там же, на площади, встречаться с вами через пару час, чтобы вернуться назад в отель, – предложил гид.

Подъезжая к большому мосту, автобус тормозит на красный у перекрестка, и я обращаю внимание на табличку справа от себя, указывающую на Бизерту.

В кровь будто ментола влили, вспомнил код двери в подъезде отцовского дома – один, один, ключ, семь, шесть, два, восемь – как несколько месяцев назад хоронил его, как выдали мне урну с папиным прахом на Митинском кладбище, как шел я с ней до могилы. Сколько там идти было, двести-триста метров? Мне их с лихвой хватило, чтобы понять, зачем в больницах на прикроватных тумбочках столько скоропортящихся продуктов, когда у больных нет никакого желания есть и пить, а порою даже смотреть на них. Шоколадки, конфеты, соки, фрукты по запредельной цене, мы не им несем, нет, себе... Продлевая их дни, мы надеемся продлить хотя бы чуть-чуть свой собственный рай, до того казавшийся нам вечными буднями. Даже тут мы эгоистичны, своенравны и корыстны.

Когда отец почувствовал свою немощность, он взял с меня обещание, что в больницу я его положу только перед самым его концом: «Погоди, не кипятись, – остановил мою попытку возразить ему, – постарайся понять меня. В больнице я вместо здоровья обрету новый статус, стану вещью, конечно, не в своих глазах и, надеюсь, не в твоих, но в глазах окружающих – точно. Я знаю, что такое больничная палата – это место, где о тебе говорят в третьем лице, не понижая голоса. Я этого не хочу. Да и тебе, сына, удобней будет сделать, как я тебя прошу, согласишься».

И я согласился. Он хотел еще что-то сказать, но промолчал. Вероятно, из-за

того, что здоровые люди всегда ведут себя не так, как надо, всегда ошибаются в присутствии больного, а он не хотел, чтобы я совершил сейчас ошибку, а может, решил уберечь меня от преждевременного знания, ведь мысли о смерти время от времени посещают каждого из нас, и свою смерть мы начинаем постигать через смерть родителей.

Обещание я сдержал. На меня давили то жена, то родственники с папиной стороны, думали, что всему причиной мой врожденный пофигизм, но я не мог послушаться отца. А когда мне было очень тяжело, я все твердил про себя код папиной двери в подъезде: «один, один, ключ, семь, шесть, два, восемь». Я повторял его столь часто, словно от этого зависело, выздоровеет отец или нет.

Он до последнего управлялся сам со своим нехитрым хозяйством, до последнего отвечал на мои звонки; записывал, чтобы не забыть, печатными буквами на внутренней стороне разорванных сигаретных пачек названия лекарств и часы их приема и вообще – был настоящим «морским волком». Потом я помогал ему по мере сил, приезжал три-четыре раза в неделю, отгонял от него мошенников из фирмы «Здоровье нации» и черных риэлторов, подкупал продукты, готовил, менял постельное белье, а потом, когда я уже ничем не мог ему помочь...

Вспомнил, как выносил из дома его вещи – последние свидетельства материальной жизни. Я знал, как это делается. Шесть лет до того я выносил мамины вещи. Это упражнение у мусорных контейнеров пострашнее кладбищенского будет. Тут ритуал устанавливаешь сам, посреди обычной городской суеты, без оглядки на предков и ближайшую родню. Сам решаешь, выносить ли тебе на помойку китель черного цвета с нашивками или нет. Я вот таких сил в себе не обнаружил, поскреб-поскреб и не нашел, китель до сих пор висит в отцовском шкафу на Речном вокзале, на Ленинградском шоссе.

...Автобус в правом ряду, но вправо не сворачивает, едет прямо под мост.

Но даже если бы он и свернул направо и я бы все равно не доехал до Бизерты, разочарований было бы куда больше.

Я знаю, мои родители не будут спокойны там, если я не смогу быть счастливым здесь. Я знаю это потому, что сам отец и сам все прекрасно понимаю. Знаю, как связаны те, кто там, с теми, кто здесь. Я просил прямого пути, вот и еду, никуда не сворачивая, еду прямо, еду туда, куда посылают меня годы, прожитые среди гама и суеты. Я не ощущаю течения времени, кажется, навечно застрял на сцене... Я хочу научиться радоваться доставшейся мне небольшой роли, а еще – радоваться тому, что всегда готов заменить «Ом» на «Ом».

Показалось, крикнул, как всегда жизнеутверждающе, один из моих смартфонов, завибрировал аккуратно возле ноющего сердца. Достал оба проверить. Возможно, то была какая-то внутренняя жизнь девайсов в отрыве от их пользователя. По крайней мере, сообщений никаких. Ложная тревога. Но я на всякий случай, раз уж достал телефоны, все же решил заглянуть в свою почту, навестить друзей по Фейсбуку.

Красных значков с циферками не было, только тизер все допытывался: «О чем вы думаете? О чем вы думаете?» – «Да ни о чем. Живу себе и все. Мало что ли?» Вот Бей меня бы понял, Бей бы похвалил. Провел бы очередное очистительное занятие, расположившись сразу на двух персидских ковриках, высланных на деревянном полу крестом.

*Капалабхати... резкие короткие выдохи... подтягиваем низ живота... сорок пять пятьдесят раз закрываю глаза прижимаю пупок к позвоночнику и резко выталкиваю наружу получается будто себя из самого себя возможно легкое головокружение мера предосторожности бхастрика глубокий активный вдох и выдох затем медленный плавный вдох и задерживаем дыхание без насилия над собой спину держим прямо макушкой тянемся в вечность глубокие мышцы прорабатываются только в статике пахнет сандалом доносятся звуки ситара слышны чьи то тихие шаги мимо ковриков*

*это видно Сабинка наша опять опоздала на занятие она бедная ездит йожиться к нам аж с Восьмого километра у нас никто не входит в бакасану с разбега некоторым товарищам советую снять носки ноги имеют свойство разъезжаться в носках читурангашванасана читурангашванасана счет в уме вчера забыли и завтра не помним врикшаасана держим баланс привычка формируется двадцать один день двадцать второй ваш но помните мир не станет вашим пока вы не станете миром кто может закрывает глаза кто не может смотрит в одну точку ситар тоненько ткет прозрачное полотно в своей далекой медленной Индии.*

Заметив, что, как только я подумал о Бее, городской пейзаж за окном автобуса стал хуже считываться мною, а после и вовсе тянулся одним серым пятном, я поспешил оградить себя от прошлого. В отпуске, как в хорошем романе, возвращение к прошлому должно быть обосновано и строго дозировано, быть может, его вообще следует избегать. Следует? Но как? Как его остановить, если даже в путешествии жизнь не вперед летит, а назад? Я так часто думаю о прошлом, что кажется, оглянись я назад, а его и след простыл.

Я отрываю глаза от стертого, точно ластиком, пейзажа, а они все еще там, в прошлом, глаза мои. И кажется, столько непройденныхасан до медного звука тибетских тарелочек... До последнего «Ом».

Автобус объезжает «Биг-Бен» и останавливается справа.

Мы выходим возле низкорослой четырехгранной башни, увенчанной часами на каждой из граней и окруженной фонтаном и красными флагами с полумесяцем. Глядя на нее, я почему-то думаю, что она напоминает мои четырехчастные интервью в журнале.

Осмотревшись, делаю вывод: коррозия башне была обеспечена с первого же дня. И с этим уже ничего нельзя поделаться, хоть называй день 7 ноября 1987 года Днем Преобразования, хоть не называй.

Гид отпускает нас гулять по центральной улице города, только просит сверить свои часы с башенными. Не знаю, как со всех четырех сторон, – я башню не обходил – но с двух они показывают разное время. Правда, разница невелика – ровно десять минут.

– В целом тут есть где разгуляться. Но... – объясняет, клацая ногтем по своему циферблату, наш гид, – через два часа встречаемся на другой стороне, возле банка, здесь остановка запрещена. Через два часа, господа! И никаких «А вот у нас в Москве принято опаздывать на десять-пятнадцать минут». – Щурится и вдаль смотрит. – Там, на конце – Медина, за воротами Баб эль-Бахар. Вон там – Нотр-Дам де Тунис, на другой стороне Французское посольство и муниципальный театр... Много магазинов, кафе, везде отличный кофе... Говорить можно по-французски и по-английски, если на пальцах – тоже ничего страшного, вас поймут... Вы знаете, где находится посольство России? Я тоже не знаю. Вперед, друзья мои, время не ждет!.. Всегда лучше попробовать горячее, чем холодное.

Кажется, будто он только и ждет конца своей миссии. Какой-то весь смазанный стал, будто его сейчас редактируют в фотошопе.

Правила дорожного движения, похоже, никто не соблюдает. Мы долго не могли перейти на другую сторону дороги. Я посмотрел, как тунисцы кидаются прямо на капоты автомобилей, и последовал их примеру: не обращая внимания на ругательные гудки, остановил собою белый «рено» и медленно пошел на «форд», чтобы вослед мне успели проскочить жена с дочерью. Впрочем, здесь все делается медленно. Такое впечатление, что все живут с «широко закрытыми глазами» и скоро, очень скоро твои глаза ничем не будут отличаться от их глаз.

Авеню Бургибы, до революции Авеню Жюль-Ферри – широкая лента в полтора километра от «Биг-Бена» до Французских ворот (Porte de France) или Баб эль-Бахар, рассеченная аллеей, по обе стороны которой растут новенькие стриженные деревца.



(Дочь спросила меня, что это за деревья, я сказал: посмотри в интернете, она сходила обиделась и не хочет идти рядом со мной, а жена просит, чтобы я не спускал с нее глаз. На самом деле, я ни на секунду не упускаю из виду ни жену, ни дочь. Если надо кого-то легонько подтолкнуть, подталкиваю. Должно быть, со стороны я похож на частного детектива или товарища в штатском из какого-то там управления.)

Клаксоны автомобилей, прилипчивые шлягеры мобильных телефонов, гомон справа и слева такой, словно ты весной ранней снял себе местечко на облюбованной воробьями ветке, «чирик» тебе в ухо.

Авеню Бургибы по своему архитектурному замыслу напоминает все центральные улицы европейских столиц. Тут не поймешь, в Африке ты или в Европе, в Париже или в Баку. Авеню Хабиба Бургибы напоминает и Унтер-ден-Линден, и Прикоп, и Тверской бульвар с той лишь разницей, что ни в Москве, ни в Праге, ни в Берлине столики летних кафе не стоят посреди тротуара, препятствуя движению прохожих. Здесь приходится лавировать между посетителями кафе, наткаться на официанта, ждать, пока он раскрутится с подносом у твоей головы, раскланяется с посетителем, опустит стакан с содовой на картонку или ласково распакует пачку сигарет... Тут ложечка на чайном блюде кажется твоей и кусочек сахара, и набитая окурками пепельница наследника Ганнибала с газетой в руках тоже – твоя, а не его. И платить тебе придется, и чаевые оставлять. (На каком языке говорить будешь?) Тут повсюду пахнет кофе, повсюду парфюмерные и табачные клубы. Толпа меж столиков течет так густо и так медленно, что можно услышать и подмышечный душок, и свист прокуренных легких, и голоса, стрекочущие что-то владельцам мобильных телефонов. Похоже, люди здесь живут без того внутреннего колебания, того чувства, которое возникает, когда тебе, черт знает почему, навязывают вину несмотря на то, что прекрасно понимают, что ты, именно ты, ни в чем не виноват. Эти люди далеки от привычной нам самоидентификации, они живут, не стараясь понять, они живут, стараясь принять... Они точно знают: ни один вывод, ни одно положение, ни одна идея не способны управлять миром. И от мира все эти идеи защищаются лишь сенатом, лишь авторским правом – «Я, Катон, тут был, и я сказал» – да и то временно, пока одну идею не сменит другая, возвращающая нас к очередному, раз уже прожитому, этапу прошлого.

Большинство местных одеты в европейское платье по последней моде. Краем глаза я даже зацепил тунисских панков на углу какой-то гостиницы, напомнившей мне гостиницу «Минск» на Тверской времен распада СССР. А вот иностранцев в это время года совсем немного. Должно быть, все они сейчас кучкуются возле Нотр-Дам де Тунис.

Если честно, я ожидал от собора большего: все ж таки «Нотр-Дам», хотя и «де Тунис». Я ждал трех порталов и розы над входом, гаргулий и химер, но обманулся, ничего этого не было. Небольшой собор, стиснутый с двух сторон современными коробочками, за столько лет никак не вытребовал для себя почетного места. Попасть в него можно было прямо с улицы. Несколько ступенек, и ты уже внутри. Но сейчас сделать это оказалось совсем не просто. Слишком много народу. Могу представить, что тут творится ближе к вечеру летом.

Мы приблизились к ступенькам, остановились. Жена достала из чехла наш залепленный лейкопластырем «Кэнон», прикинула, как бы ей получше снять панно над входом. Я обернулся: показалось, кто-то следит за мной, поискал взглядом и... снова увидел его.

Магрибчанин стоял, точно страж в преддверии далекого неведомого. Из одного его глаза хлестало светом, надменный рот одновременно улыбался и нашептывал какие-то заклинания.

Глядя на него, я испытывал чувство, будто наблюдаю конец истории, и прикидывал, в какой мере расхождение в десять минут может повлиять на исход событий.

Мехти-ага постоянно твердил нам, что ответы на вопросы, найденные путем долгих размышлений или логических рассуждений, практически всегда оказываются ложными: «Не можешь прорваться к ответу, хотя бы не лги себе, сделай движение вперед: не сердце, так тело подскажет тебе, как быть».

Я послушался мастера, решился, сделал, наконец, то самое «движение вперед»...

– Ты куда? – вскинулась жена. – Мы же потеряемся!..

Я иду прямо на него. Для начала спрошу, сколько сейчас времени, по-русски спрошу, а там посмотрим... Посмотрим, на каком языке он ответит. Я по глазу его светоносному все пойму. Все выпытаю, и насчет горячего, и насчет холодного. Успел сделать всего-то пару шагов в его направлении, а он...

Он взял и исчез.

Кидаться в толпу, искать в людском месиве? Нет, не догоню я его, не найду.

Я уже было обреченно развернулся к своим – их бы не потерять из виду – как увидел его на другой стороне, на том месте, где я раньше стоял и с которого начал свое «движение вперед». Будто собор ему помог перелететь.

Он со своей дамой спешит в направлении Медины, оборачиваясь на ходу, и тем самым как бы втягивая меня в погоню.

– Идите скорее.

– Ты можешь объяснить, что происходит? – жена с дочерью переглянулись.

– Да этот, черный... из Магриба...

– Тебе же лечиться надо! – она сказала это так, потому что ее взгляд на меня не подействовал.

– Приеду в Москву, буду лечиться.

– Успокоил, нечего сказать.

Здесь народу поменьше, скрыться от меня так просто у магрибчанина вряд ли получится. Он, видно, почувствовал, что от намерения во что бы то ни стало нагнать его я уже отказался. Понял, что я решил пока лишь следить за ним, и дает мне возможность поиграть в Лоуренса Аравийского. Меня это устраивает, держать его в поле зрения не составляет большого труда: черный кафтан и черный ихрам с белым игалем видны издали, к тому же и жене с дочерью моя новая стратегия больше по душе.

В магазины магрибчанин не собирается. Мы тоже. Он идет, будто по своим делам. Срочным. И хоть большим запасом времени он, похоже, не располагает, они с дамой могут так дойти до самых ворот, разделяющих старую и новую части Туниса. Кстати, они уже видны, эти ворота, эти Баб эль-Бахар, и красный флаг с полумесяцем над ними тоже виден; видны торговцы, жестикулирующие на границе старого и нового, прошлого и настоящего; фонари, пальмы, жилой дом с маленькими балконами в расчете на двух заядлых курильщиков.

Войдет ли он в Старый город, идти ли мне за ним, хватит ли у нас в этом случае времени вернуться? Вопросы отпали сами собою, потому что у ворот я его снова потерял.

Стою, кручу головой по сторонам, надеясь еще на что-то: «Где это чертово черное пятно с белым обводом на голове?!» И тут вместо магрибчанина передо мною прорастают старые знакомицы – кобылицы-кальянщицы. В отеле я их не видел несколько дней и успел про них забыть.

Родная провинция нигде так больше не провинция, как в туристических поездках. Они в линялых джинсовых шортах и в одинаковых белых майках с портретами Марлона Брандо в роли «Крестного отца». Они едят одинаковое мороженое в рожках и, зеркально отражая друг друга, точно в театральной студии, снимают ворота на свои телефоны. Они снимают их как-то походя, не для себя и не для всепрощающих ванюшек, дожидаящихся их возвращения в Россию, – но с единственной целью при-

влечь внимание. Догадываюсь даже, чье внимание, и уже спешу найти связь между оскароносным доном, шальными девицами и очередным исчезновением черного человека.

Все рассыпается, помочь может только подсказка. Слышу, одна интересуется у другой, проходясь кончиком языка по подтекающему сливочному шарикку:

– ...А как эту хариссу используют, знаешь?

А та ей по методике Станиславского и с одобрением Корлеоне:

– У меня баночка, на ней такие красные жгучие перчики... – И сама, точно «пэрчик жгучий», горит и пожар всем обещает, включая старика Брандо.

Я поздоровался с ними. Зачем? Не знаю. Может, почувствовал, к концу дело идет, так сказать, последний поворот колеса перед эпилогом, к тому же я никак не мог предположить, что девицы посмотрят на меня, как на ненормального, и тут же повернутся ко мне спинами. Нет, эти жертвы глянцевого журнала, озабоченные по-иском «крестных отцов», вне той системы, которую предложил мне Бей.

– Ну что, – спрашиваю у жены, – пойдём в Старый город?

– Думаю, он такой же, как в Суссе.

– Тогда по другой стороне назад и выйдем к банку, к нашему автобусу?..

– Папа, я узнала, как называются эти деревья на бульваре, – дочь сбрасывает один наушник, показывает на смартфоне википедийную ссылку, но бесполезно, без очков я ничего не вижу. – Это – фикусы.

– Да ну!.. – Нет, я правда удивлен, разве фикусы бывают такими?

С другой стороны, почему бы и нет. Неужели я, искатель на шестом десятке, так и не понял, что мир не обязан во всем следовать моим представлениям о нем.

Пошли назад. Аллея с фикусами теперь сопровождала нас слева, а витрины магазинов – справа. Я еще какое-то время оглядывался: а вдруг теперь магрибчанин будет за мною гнаться. Но никто за мною не следил, никто не наступал на пятки.

Сначала мы зашли в универмаг, посмотреть, чем туниисцы лакомятся, чем заправляют свои вместительные средиземноморские желудки. Думали, будет много рыбы, ошиблись, выбор невелик. Так называемые «исходные продукты» стоили совсем дешево, сладости на любой кошелек; купили кус-куса, жена сказала, что хочет приготовить нам на Новый год кус-кус по-керкенски с кальмарами, фаршированными рисом и зеленью, а потом заглянули в пассаж.

В торговой галерее едва слышно тянуло кожей, табаком, кофе и чужой осенью. Мы выбрали кофе и чужую осень.

Над головами четырех продавщиц трое круглых полосатых часов тикали полосатым временем – Нью-Йорк, Лондон, Париж, – связанные общей идеей драматургической гравитации, пасовали кварцевый сюжет в хронологической последовательности, и только четвертый кругляш с белым циферблатом против трех черно-полосатых обходился без стрелок и названий столиц мира, зато заманивал легкомысленных персонажей чашечкой дымящегося кофе с пенкой в виде веселого молочного смайлика, подводившего черту подо всем тем, что удалось отложить, остановить.

Любезная продавщица с тоненьким голоском, будто из кукольной мембраны, сначала дала нам понюхать и погрызть несколько сортов кофе, а после долго объясняла по-французски, что тот кофе, который мы выбрали, очень-очень горький и к нему хорошо было бы прикупить полкило другого, чтобы во время приготовления смешивать их в разных пропорциях в зависимости от времени суток. В результате она отсыпала нам того и другого в крепкие бумажные пакеты. Я хотел положить их в свой рюкзак, но последнее, что в нем поместилось, были две упаковки кус-куса. Девушка улыбнулась и протянула мне целлофановый пакет с фирменным знаком – «00:00». «От кофе никогда не отказываются, – снова вспомнил я Бея, – в особенности на переходах из одного состояния в другое».

Мы дошли до угла дома, практически подошли к французскому посольству. И тут неподалеку от пешеходной дорожки – людское завихрение.

Я сначала подумал, демонстрация какая-нибудь, говорил же нам гид: «Тунис – свободная птица», потом гляжу, нет, драка, обычная уличная драка, да еще с привлечением женщин. (Вон, как они голосят свирепо, как улюлюкают!..) Ну, и где полиция? Место-то – самый центр, как сказала дочь: «Центрее не бывает». Почему солдаты, охраняющие французское посольство, никак не реагируют? Их же тут не меньше двух взводов...

– Стой, никуда не ходи! – кричит жена, но я не слышу ее, я уже иду, да что там иду, – я бегу, подгоняемый моим дублером. Даже не заметил, как просыпаются на плитку кофейные зерна после столкновения с кем-то. С кем-то?! Это же был он – Черный. Я хотел остановиться, хотел крикнуть ему: «Бей?» Нет, не так надо было мне крикнуть: «Мастер!» Но почему-то даже не остановился.

Не могло быть никаких сомнений: человек, которого трепала толпа, был не кто иной, как отец-основатель и главный редактор популярного интернет-ресурса «Час погрома».

Мне кажется, если бы не мое безоговорочное доверие к мастеру, пусть даже и бороздившему сегодня далекие миры, я бы определенно слетел с катушек. А так все губительные вопросы вроде: «Как могло так случиться, если такого в принципе никак не может быть?» отпадали сами собой и, как я полагаю, не с одной лишь целью самозащиты. Так что мысль сама упрямо зацепилась за отпущенные мне свыше десять минут, за того, чью тень, чей образ я преследовал, точно гончая с аристократических шпалер.

Конечно, лицо Доминика Дагера съехало в ухаб, но взгляд по-прежнему оставался таким, каким я запомнил его на присланной мне фотографии, и это несмотря на то, что Дагера безостановочно пихали, вспахивали, рвали на куски, а те, кто не мог до него добраться, осыпали особенными восточными проклятиями, после которых выжить и без побоев не представляется возможным.

Кожаная куртка Дагера была разорвана в клочья, с живота свисал широкий пояс, начиненный взрывчаткой, точнее даже не пояс, а какая-то «подушка под голову», облепленная серым скотчем, от которой тянулся оборванный красный провод... Вид у него нездешний и на мусульманина он не похож, но разве не писал наш колумнист, тот самый аналитик, когда-то предостерегший нас от поездки на Джербу, что новообразованные террористы-одиночки – это ноу-хау джихадистов, и с ними очень тяжело бороться, практически невозможно.

Он пригибается, он поднимает и опускает холеные руки, взмахивает ими, точно птица крыльями, получая тычки и пинки вновь и вновь. Его ненавидят, впрочем, его всегда ненавидели, и он всегда ненавидел тех, кто ненавидел его, – этих мелких, ничемных, суетливых существ, уверенных в том, что, если придет какой-нибудь Катон, жизнь сразу же наладится. Он убежден, что хабальство вперемешку со страхом одиночества и непомерная тяга к жирным маслинам составляют суть любой толпы, ее основу во все времена, и, хоть себя к этой воющей, к этой смердящей толпе Дагер никогда не причисляет, себя он ненавидит так же неистово, так же люто. Всегда хотел кому-то что-то доказать, сначала учителям и друзьям, потом поклонникам сайта «Час погрома». И хоть он, Доминик Дагер, не нашел в себе сил подорваться, все равно он заслуживает большего уважения, быть может, даже преклонения, ведь он умеет не только рояли настраивать, но еще и родную, во всем единогласную толпу заводить. Было бы только против кого. Лучше всего спускать ее на ущемленных в правах пришлых, еще лучше – на тех, кого называют «другие», но сами они поверили в то, что они уже «свои» и дети их, по границам разбросанные, тоже «свои». Да мало ли кто может угодить в «другие» сегодня. Толпа, она такая. Главное, вовремя разжечь ненависть и найти ей выход. Но однажды этот контролируемый выход, этот

узенький проходец в историю может оказаться замурованным новым хозяином толпы, очередным орудием возмездия и справедливости, очередным борцом с мультикультурализмом, загнивающей Европой, овощными базами, и тогда ненависть, разогнавшись на спуске, приведет к начиненной тротилом подушке, к сенатору Катону, заявившему однажды: «Ceterum censeo Carthaginem esse delendam».

Я чувствовал, как дрожит все внутри у Доминика Дагера, и эта дрожь передавалась и мне. Идти сейчас против разъяренной толпы было равносильно самоубийству, но стоять и наблюдать или повернуть к своим я тоже не мог, я был словно ввинчен в то место, на котором оказался. Мой дублер подсказал мне, что нет никаких вариантов, кроме одного: «Старик, тебе еще крупно повезло, что Дагер успел ответить на твои вопросы, и ты сможешь сдать материал в номер прежде, чем тебя успеет расстрелять из своего «браунинга» ответсекретарь». И когда я осознал вполне, что от меня более ничего не зависит, и все, что мне остается, это принять мир таким, каков он есть, толпа вдруг остановилась, в ней образовались прорехи, кое-где даже тени прорисовывались. Кто-то тут же закурил в просвете, кто-то потянулся к термосу, отвинчивая крышку-стакан, кто-то в шутку расправился с мухой, хлопнув газетой по голове своего приятеля-массовика, с толком уминающего бутерброд...

Дагер тоже разогнулся, почувствовал себя обычным человеком. Хотя нет, не совсем обычным: по всему виду, он здесь ходил за звездой, еще несколько съёмочных дней – и его фотография появится на одной из стен кафе «Де Натт». Вон, даже дама к нему подлетела, та самая, что сопровождала повсюду волшебника из Магриба. Освещенная светом прожектора, она поправляла Доминику брови и нос, возвращала на место рот, до того словно побывавший у нее в косметичке.

На другой стороне улочки я заметил несколько автобусов и автокемпинг, оранжевые конусы, толстые черные провода, ползущие по асфальту, точно змеи...

Звукооператор с микрофоном на удочке записывал, как хрустят под ногами людей рассыпавшиеся зерна очень горького кофе. По его лицу я понял, что этот звук показался ему страшно убедительным и должен был понравиться зрителям. А еще в тот самый момент, когда ко мне подошли жена с дочерью, я увидел магрибчанина – или Бея? – честно говоря, я уже совершенно запутался. Он стоял на подножке автокемпинга и взглядом двух разных глаз объявлял мне о том, что с этой минуты позволяет событиям, связанным со мною, идти своим чередом.

– Вот он!.. – сказал я.

– Это же кино снимают, – невозмутимо парировала жена, она еще не заметила, что кофе, который мы так долго выбирали, рассыпался.

– Это сейчас кино снимают, – сказал я, – а тогда...

– «Тогда» – это когда?

Вряд ли мне удалось бы объяснить ей, какую роль в моей жизни сыграли десять минут расхождения во времени. Но мне кажется, жена и без моих объяснений начала все понимать, хоть и сказала: «У тебя точно что-то с головой...»

В автобусе, когда мы возвращались в Монастир, до наших кресел добрался гид. (Он вообще-то не только к нам подходил, он ко всем подваливал, задавая один и тот же вопрос: «Ну как, понравилось?» После чего корректно, без нажима намекал на чаевые себе и водителю: «Кто сколько может, господа, кто сколько может». Просто Чарнота-Ульянов какой-то...) Однако почему-то именно у нас он спросил, видели ли мы, как снимали кино возле французского посольства? Заметив, как я сразу же напрягся – подумал, сказать ему, что не столько снимали, сколько в котле тунисском варили, или все-таки не стоит – он успокоил меня:

– Знаете, люди – везде люди, и у нас, и у вас. И раньше, и теперь. Им всем всегда кажется, что не они такие, жизнь такая. – Он снял свою милитаристскую шляпу и церемонно склонил голову – будто слуга, исполнивший все указания хозяина.

Вот bestия пронырливая, подумал я, отдавая ему двадцать динар за Карфаген и Катона, за Сиди-бу-Саид и дом муфтия Аннаби, за «Биг-Бен» и День Преобразования, за жизнь такую, короче говоря. Мехти-ага бы меня похвалил, он бы замолвил за меня словечко перед первовосходителями.

Ом!

...Кроме того, последние туристы покинули отель. Остались только косоглазый Шрек с женой, мы и еще несколько человек, которых я помнил по самолету. Пляж опустел, было слышно, как трудится море и как трудятся люди возле него.

Небольшой трактор собирал скатанные в шарики водоросли, оставляя петляющий сырой след там, где детвора еще вчера строила замки, слесарь с подручным отключали воду в кранах возле туалета и раздевалок, двое холеных мужчин обсуждали что-то на одной ноте с администратором отеля возле берегового кафе, старик в красной феске неспешно вел верблюда по самой кромке моря, словно задерживал насквозь прозрачный занавес.

Приметив нас, расположившихся под большим соломенным зонтом, он остановился и что-то крикнул нам. Из-за гула трактора и шума моря я не расслышал его, и, поскольку он продолжал стоять, уставившись на нас, я отправился узнать, чего он хочет.

Едва подошел к нему и поздоровался, он немедленно предложил за полцены все те поделки, которыми полны здесь рынки и ювелирные магазины.

Я ничего не собирался покупать и объяснил это сделанным из рук крестом, старик, тем не менее, продолжал выкладывать товар прямо на песок.

Прибежала дочь, она, вероятно, решила, что мне нужен ее английский.

Не знаю, почему мы с ней из всего, что было в двух больших кожаных сумках, выбрали деревянную маску и глиняный фонарь; почему, не сговариваясь, тут же определили им место в нашем доме и почему жена, за которой обычно остается решающее слово, не перечила нам, но сразу согласилась, и это после рассыпавшегося кофе.

– Да, фонарь будет стоять на кухонном столе, а маску ты повесишь...

– Знаю, знаю... Пусть отгоняет злых духов...

Пока жена с дочерью разбирались с фонарем: куда ставить свечу и откуда будет проникать свет, я вспоминал, как мы отмечали вчера в ресторане отеля Рас-ас-Сана Новый, 1435 год по мусульманскому летосчислению, и думал о тех открытиях, которые изменили в свое время ход человеческой истории: обнаружении любви и смерти и их связанности с рождением детей и верой в Бога, о первом добытом огне, прирученном животном и первых посевах, о виноградной лозе, пущенной стреле, стремени, попытке записать звук, а затем и слово... Мой список оказался столь длинным, что, прежде чем я успел вспомнить об изобретении ключа и замка, старик, продавший нам всего за несколько динар маску и фонарь, успел превратиться в прорастающий стебелек с красной точечкой вместо фески. Я представил себе тот момент, когда, преодолев тысячи километров, дважды проверну ключ в замочной скважине, толкну нашу дверь и втяну ноздрями застоявшийся запах дома. О чем подумаю я тогда? О перезагрузке в Тунисе, о том, что запах выброшенных морем травяных шариков или растертых в ладонях маслин не сравнить с запахом дома? Как бы там ни было, после того, что случилось, быть таким, как прежде, я уже не смогу. Да и Бея, нашего Мехти, похоже, больше никогда не увижу, ни в каком из его воплощений. Сдается мне, что игра окончена. Еще немного, и она станет случаем в моей жизни. Станет ли тем опытом, на который можно опереться или передать другому, тоже какому-нибудь «йскмлкннн», теперь зависит только от меня. Но тут, похоже, нет ничего сложного, это как если бы я в двенадцатый раз пересмотрел «Анжелику, маркизу ангелов».